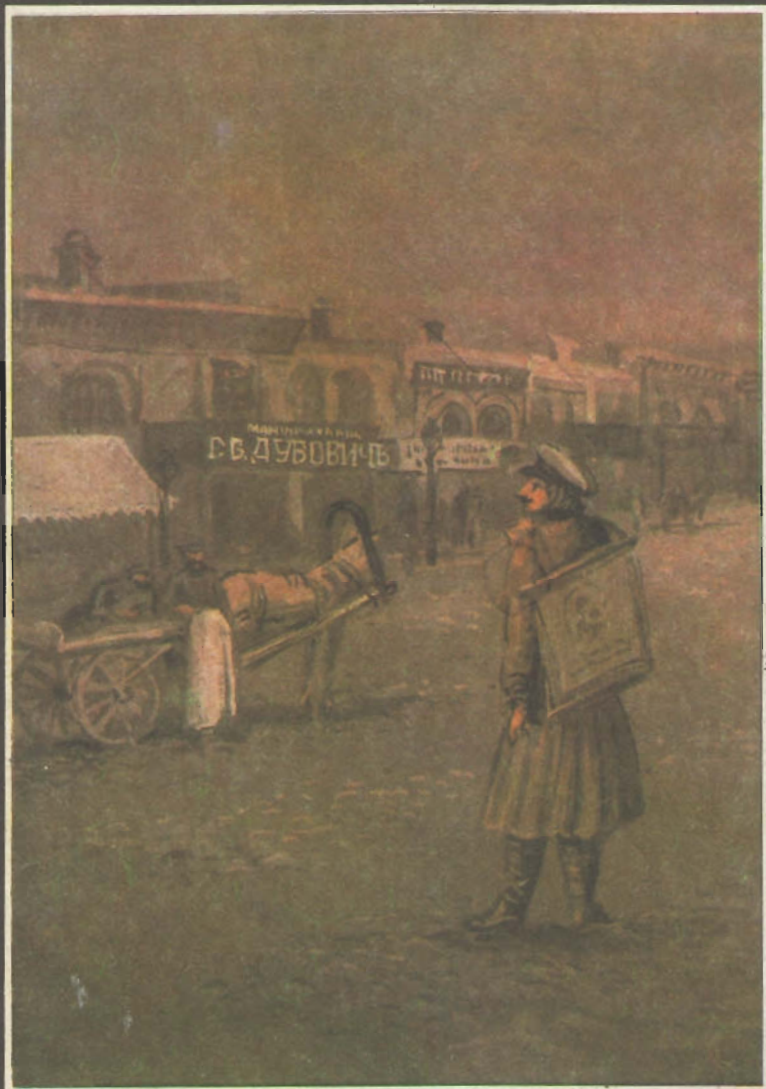


В.В. Вересаев



*НЕВЫДУМАННЫЕ
РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ*

В. В. Вересаев

*Невыдуманные рассказы
о прошлом*

*Москва
«Современник»
1988*

ББК84Р7
В31

Составитель *Н. Д. Ткаченко*

Вересаев В. В.

В31 Невыдуманные рассказы о прошлом.— М.: Современник, 1988.— 127 с.

Памятные случаи, забавные истории, знаменательные события стали сюжетами коротких новелл «заветной книги» известного русского советского писателя Викентия Викентьевича Вересаева (1867 — 1945). В книгу вошли наиболее любопытные для читателя рассказы. Их герои — люди, которых писатель хорошо знал: Чехов, Репин, Горький, Шалапин и другие известнейшие деятели русской литературы и искусства.

В $\frac{4702010200 - 288}{M106(03) - 88}$ 143—88

ББК84Р7

ISBN 5-270-00156-X

СЛУЧАЙ НА ХИТРОВОМ РЫНКЕ

В Москве, между Солянкой и Яузским бульваром, находился до революции широко известный Хитров рынок. Днем там толкся народ, продавал и покупал всякое барахло, в толпе мелькали босяки с жуликоватыми глазами. Вечером тускло светились окна ночлежных домов, трактиров и низкопробных притонов. Распахивалась дверь кабака, вместе с клубами пара кубарем вылетал на мороз избитый, рычащий пьянчуга в разодранной ситцевой рубашке. Ночью повсюду звучали пьяные песни и крики «караул».

В чулане одного из хитровских домов был найден под кроватью труп задушенного старика. Дали знать в полицию. Приехали товарищ прокурора и судебный следователь. Под темной лестницей, пахнувшей отхожим местом,— чулан при шапочном заведении. Поверху проходит железная труба из кухни заведения,— единственное отопление чулана. Чулан тесно заставлен мебелью. Под железною кроватью труп задушенного старика с багровым лицом. Ему хозяин шапочного заведения сдавал под жилье чулан. Все вещи целы. В комоде найдена жестянка, в ней семнадцать рублей с копейками. Не грабеж. Кто убил?

Много помог следствию городской, давно служивший в той местности; все взаимоотношения, романы и истории рынка были ему хорошо известны. Найти виновника преступления оказалось очень нетрудно.

Убитый старик был когда-то начальником крупной железнодорожной станции, спился, попал на Хитров рынок. Под старость стал пить меньше. Скупал по тридцать, по сорок копеек старые шерстяные платья и из лоскутьев шил шикарные одеяла для хитровских красавиц, зарабатывал по шестнадцать — восемнадцать рублей в ме яц. Считался богачом, имел постоянный заработок, свой угол.

Допрос свидетелей. Как будто раскрылся пол, и из подполья полезли жуткие, совершенно невероятные фигуры в человеческом обличье. Хозяин шапочного заведения, у которого убитый нанимал чулан, старик лет пятидесяти. Был очень пьян, пришлось отправить в участок для вытрезвле-

ния, и допросить его можно было только на следующий день вечером. С опухшим лицом, сидит, сгорбившись, в лисьей шубе. И вдруг начал икать. Это было что-то ужасное. Как будто все внутренности его выворачивались. Умоляет дать водки, чтобы опохмелиться.

Спрашивают об убитом. Он отвечает очень уклончиво. Ничего путного нельзя добиться. Наконец, сознался.

— Я его ни разу не видал.

— Как не видали? Он у вас уже пять месяцев живет!

— Извините! Я шесть месяцев без просыпу пьян. Как сукин сын, извините за выражение.

Оказалось, действительно все время пьет. Днем в трактире, вечером возвращается — спать. Ночью проснется, хрипит: «Водки!» Жена ему вставляет в рот горлышко бутылки. Утром проснется, опять: «Водки!» Встанет и идет в трактир. Дома только спит, пьет водку и бьет жену.

Пришлось для допроса призвать жену. Она кажется много старше своих лет, управляет мастерской, нянчит ребят, покупает мужу водку. На лице глубокое горе, но совершенно замороженное. Рассказывает обо всем равнодушно.

Прежняя любовница убитого: бабища лет пятидесяти, толщины неимоверной, красная, вся словно налита водкой. Спрашивают у нее имя ее, звание. Она вдруг:

— Je vous prie, ne demandez moi devant ces gens-là!¹

Оказывается: дочь генерала, окончила Павловский институт. Вышла несчастно замуж, разъехалась, сошлась с уланским ротмистром, много кутила; потом он ее передал другому, постепенно все ниже, — стала проституткой. Последние два-три года жила с убитым, потом разругались и разошлись. Он взял себе другую.

Вот эта другая его и убила.

Исхудалая, с большими глазами, лет тридцати. Звали Татьяной. История ее такая.

Молодой девушкой служила горничной у богатых купцов в Ярославле. Забеременела от хозяйского сына. Ей подарили шубу, платьев, дали немножко денег и сплывили в Москву. Родила ребенка, отдала в воспитательный дом. Сама поступила работать в прачечную. Получала пятьдесят копеек в день. Жила тихо, скромно. За три года принакопила рублей семьдесят пять.

Тут она познакомилась с известным хитровским «котом»

¹ Я вас прошу, не допрашивайте меня перед этими людьми (франц.).

Игнатом и горячо его полюбила. Коренастый, но прекрасно сложенный, лицо цвета серой бронзы, огненные глаза, черные усики в стрелку. В одну неделю он спустил все ее деньги, шубу, платья. После этого она из своего пятидесятикопеечного жалованья пять копеек оставляла себе на харчи, гривенник в ночлежку за него и за себя. Остальные тридцать пять копеек отдавала ему. Так прожила с ним полгода и была хорошо для себя счастлива.

Вдруг он исчез. На рынке ей сказали: арестован за кражу. Она кинулась в участок, рыдая, умоляла допустить ее к нему, прорвалась к самому приставу. Городовые наклали ей в шею и вытолкали вон.

После этого у нее — усталость, глубокое желание покоя, тихой жизни, своего угла. И пошла на содержание к упомянутому старику.

Паспорту Татьяны вышел срок. Старик отобрал его и от себя послал на обмен. Она осталась без паспорта и не могла уйти от старика. Вдруг воротился Игнат. Оказалось, он был арестован не за кражу, а только за бесписьменность: выслали этапом на родину, он выправил паспорт и воротился. Рыночные бабенки сейчас же сообщили Татьяне. Она отыскала его, радостно кинулась навстречу. Он засунул руки в карманы:

— Чего тебе надо?

Она остолбенела.

— Отыска-ала!.. На что ты мне такая? Худая, как холера. Я и тогда-то с тобой так только жил, от скуки. Скажите, пожалуйста: за такого мальчика—тридцать пять копеек! Я себе богатую найду.

Еле, наконец, до нее снизошел. Но она и тому была рада. Он ее бил, измывался, отбирал все деньги. И все попрекал стариком.

— Старика своего любишь,— ну, и иди к своему старику.

А она уйти от старика не могла: паспорт у него. А беспаспортную вышлют. А Игнат все измывался и утверждал, что она больше любит старика, чем его.

Татьяна вскочила:

— Ну, я ж тебе докажу, что больше люблю тебя!

Побежала домой и задушила спавшего старика.

И вот стали ее допрашивать. Худая, некрасивая, в отрепанной юбке, глаза волчонка, смотрит исподлобья. От всего отпирается. Вдруг какой-то произошел перелом — и во всем созналась. Рассказывает о своей любви к Игнату, и вся преобразилась. Глаза стали большие, яркие, целые снопы лучей

посыпались из них, на губах застенчивая, мягкая улыбка. Как красива становится женщина, когда любит!

Старик-следователь, раздражительный и сухой формалист, вначале грубо покрикивал на нее, но, как подвигался допрос, становился все мягче. А когда ее увели, развел руками и сказал:

— Вот не думал, чтоб на Хитровом рынке могла быть такая жемчужина!

Товарищ прокурора, уравновешенный, не старый человек, в золотых очках, задумчиво улыбнулся:

— Да-а... «Вечно-женственное» в помойной яме!

Стали допрашивать Игната. Держится в высшей степени благородно, приводит всяческие улики против Татьяны, полон негодования.

— Дозвольте вам доложить: шкура и больше ничего-с! Какое безобразие, ну, скажите, пожалуйста! За что она старичка?

В один из допросов, когда товарищ прокурора допрашивал Игната, из соседней комнаты, от следователя, вышла Татьяна. Вдруг увидала Игната, вспыхнула радостью, подошла к нему, положила руки на плечи:

— Ну, Игнат, прощай! Больше не увидимся: я на каторгу иду.

Он дернул плечом, отвернулся и презрительно отрезал:

— Пошла прочь... Стерва!

Товарищ прокурора вспыхнул и возмущенно крикнул:

— Сукин ты сын!.. Негодяй!..

Городовые, и те негодуяще замычали. Стоявший в дверях следователь злобно плюнул.

Она низко опустила голову и вышла.

ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ

На одной из больших улиц Замоскворечья стоит вычурно-красивый, угрюмо-пестрый дом. Вот что рассказывают про этот дом. Его выстроил для себя один богатый сибирский золотопромышленник. Заказал архитектору проект, одобрил, заключил договор. В договор промышленник ввел огромную неустойку, если работа не будет закончена к условленному сроку. Все время при стройке придирался, тормозил, заставлял снова и снова переделывать. Архитектор увидел, что попал в когти дьявола, что к сроку заказа не кончит; уплатить же неустойки он не имел возмож-

ности. И повесился в этом самом доме, который построил.

Хозяин поселился в доме с девушкой-дочерью. Она влюбилась в певца итальянской оперы. Отец, конечно, и думать ей запретил о подобном замужестве. Она убежала с итальянцем за границу. Отец остался жить один в огромном доме. Сильно злобился на дочь и сильно по ней тосковал. Тоска победила. Поехал за границу отыскивать дочь. Отыскал ее, брошенную итальянцем, в нужде, беременную.

Привез обратно. И тут победила злоба. Он замуровал дочь в светелке над вторым этажом. Дверь наглухо заделал кирпичами, оставил только маленькое окошечко; в него ей подавали еду и питье. Подкупленная прислуга молчала.

Пришло время ей родить. Ее крики и стоны разносились по всему дому. Отец запретил оказывать ей какую-либо помощь, сидел у себя в кабинете и три дня слушал, как по гулким комнатам обоих этажей носились ее стоны и вопли. В ночь на четвертый день все стихло. В светелке нашли мертвую мать и мертвого младенца.

А для отца дом продолжал оставаться полным стонами и криками. Он не спал по ночам и все время расхаживал в халате по ярко освещенным комнатам особняка. Наконец не выдержал и уехал куда-то за границу. Дом до самой революции стоял пустым.

ФИРМА

В 1899 году в иллюстрированном еженедельнике «Нива» печатался новый роман Льва Толстого «Воскресение». Везде только о нем и говорили. Возвращался я в Петербург в спальном вагоне третьего класса. Среди трех спутников — старик купец в высоких сапогах, в пиджаке. Заговорили о романе. Купец:

— Плохо, плохо! Я «Ниву» получаю, читаю, — очень плохо! Как раньше-то писал! «Казачьи»! «Анна Каренина»! «Война и мир»! Вот это было дело! А теперь!.. Нет, устарел! На чердак пора ему. Куда старую мебель убирают... Что же это, скажите, пожалуйста: князь, человек живет в почете, имеет звание, человек, можно сказать, вращается, — и вдруг на этакой швали жениться! Какая же она ему пара, позвольте спросить? И у вас, наверное, десять таких было, и у меня, может, двадцать. И на каждой жениться!.. Нет, на чердак, на чердак пора! Плохо! Потому только все и читают, что подписано: «граф». Фирма!

С ОПОЗДАНИЕМ

Петербург. Окраина. Узкие ломовые сани, на них высоко громоздились деревянные ящики с гвоздями. Поклажа крепилась на сторону. Возчик,— парень в полушубке,— шагал рядом с санями и растерянно подпирал плечом накренившийся воз. Приказчик у дверей лабаза с любопытством смотрел. Легковые извозчики у трактира тоже с любопытством смотрели и переговаривались:

— Завалится!

— Бесперечь завалится!

— Как бы парня не придавило.

— И очень просто! Сколько народу погребали тяжести. А он, дурень, сбоку улицы едет, еще больше набок накренивается воз...

Поклажа качнулась, и ящики тяжело посыпались на возчика.

Приказчик лабаза со всех ног кинулся на помощь. Извозчики, подобрав полы синих армяков, побежали туда же. И отовсюду сбежался народ. Мигом разобрали ящики. Парень-возчик лежал с восковым лицом, с закрытыми глазами, из угла губ стекала вниз струйка крови.

ПАРИКМАХЕР ПО СОБАЧЬЕЙ ЧАСТИ

— Я, как вам сказать? Извините меня за это выражение,— парикмахер по собачьей части. В деревне так если скажешь — засмеют, а в Петербурге можно на этом хорошие дела делать. Вот я, например. Как видите, милостыни не прошу, не ворую, не граблю, а живу, благодарение богу! Кабы еще водочкой не занимался, у меня бы теперь вот этакий дом был. Рублей полтора ста в месяц смело вырабатываю... Бывает ли, что кусают? Нет, меня не кусают, я понимаю их характер. Недавно приходит ко мне господин.

— Это вы, голубчик, в газетах публикуетесь? Нужно ostrичь моего пуделя, только заранее предупреждаю: он никого к себе не подпускает. Если искушает, я не отвечаю.

— Ничего, не извольте беспокоиться.

Пришел. Злющая собака. Даже горничная, которая ее кормит,— и та боится.

— Дайте мне,— говорю,— мокрое полотенце. Да не найдется ли у вас комната отдельная, чтоб никто мне не мешал?

Заперли пуделя в комнату. Взял я полотенце, разом открыл дверь, вошел, да строго так:

— Что тут за шум?

Да как ахну полотенцем мокрым по стене! Пудель очень даже этому удивился. Подошел я к нему и начал машинкой стричь. А он сидит и удивляется. Горничной интересно было, стала в замочную скважину глядеть. Пудель оскалил зубы, зарычал.

— Кто это там? — говорю кротким голосом. — Не мешайте, пожалуйста.

И остриг. Пять целковых получил за это дело... Никогда не нужно бить собаку, чтобы, например, отучить гадить, — особенно плеткой. Всего больше собака боится — шуму. Скольких я отучил! Нужно бить по полу мокрым полотенцем или клеенкой, а собаку носом тыкать, куда следует. В один раз отвыкнет.

Да! Много случается видеть!.. Графиня одна уезжала на лето за границу и мне свою болонку оставила на содержание. И нужно же: сегодня графиня приехала, а собачонка за день до того сдохла. Старая собачонка, паршивая, — вы бы ее за три сажени обошли кругом. Принес я ее, дохлую. И что же вы думаете? Графиня этому дохлому псу начала лапки целовать! Сама плачет, заливается. Вижу, тут можно делов наделать. Послунявил потихоньку палец себе, намочил глаза. Стою, всхлипываю:

— Уж как жалко! Какая аккуратная была собачка, до чего чувствительная! Как будто у самого меня дите померло!

Она заливается, а я стою, нос себе утираю да рожи строю.

— Ваше сиятельство! Уж не говорите! До чего мне даже тяжело, — что же вам-то!

Она говорит:

— Можете вы с нее лапочку снять, чучельнику отдать, чтоб хоть лапочка мне осталась на память?

— Это, — я говорю, — можно.

— И потом: я хочу ее похоронить. Можете вы это взять на себя? Только чтоб я сама не видела, а то у меня сердце, говорит, разорвется на части.

— Это тоже можно. Не мое это собственно дело, но для вас... Опять же и для собачки, — потому уж очень я ее любил... Можно будет, не извольте беспокоиться!

— Гробик чтобы обить голубым атласом... Сколько все это будет стоить?

— Десять рублей чучельнику, три рубля чухонцу, чтоб отвез гробик, — здесь, в Петербурге, нельзя. Ну, гробик чтобы был вполне приличный, все прочее — рублей пятнадцать...

А сам думаю:

«Дай ты мне, дура, в морду за мое замечательное нахальство!»

— Ну,— говорит,— вот вам тридцать пять рублей.

Я собачонку в мешок и, конечно, на пустыре забросил, а деньги в карман. Вот какие бывают графини! Прислуга умирай у нее, ей дела не будет — убирайся в больницу! А для паршивой собачонки что готова делать!.. Вот я вам теперь объяснил всю дурость Петербурга.

«БОГ СОЕДИНИЛ»

Были замедленные встречи у колодца весною, когда из темневшего барского сада несло душистым тополем и цветущей черемухой. Были потом возвращения с посиделок зимою, когда шли вдвоем под одним тулупом и она сладко отдавалась его поцелуям и горячим ласкам. Потом поженились, и два года прошло, как счастливый сон.

Но земельный надел был малый, для обработки его хватало сил одного старика-свекра. Брат его, живший в Петербурге, устроил ее мужа артельщиком. Стал он порядочно зарабатывать, подавал домой. А потом, как часто бывает, когда долго живут врозь, стал он подавать все меньше, сошелся там с другою женщиною, написал жене: «Я тебя больше не знаю» — и совсем перестал подавать. Тогда старики не захотели ее больше держать.

Поступила она в городе Веневе в прислуги. Тосковала о муже, о былом счастье. Подвернулся ласковый парень, нежно слушал ее, сочувствовал. Она — больше из благодарности — уступила его настояниям, хотя сама мало от этого испытала радости: совсем не то это было, что раньше с мужем,— даже странно, до чего было иначе. Забеременела. Тогда парень перестал быть ласковым и исчез. Деваться было некуда, все отшатнулись. Барыня брезгливо дулась и качала головою. Пересиливая себя, она работала до последнего часа. Уже с родовыми схватками ставила вечером самовар для господ. До крови раскусала губы, чтобы не кричать. Ночью ушла на двор и рано утром родила ребенка в отхожее место. Конечно, сейчас же нашли. Ее арестовали. Судили. Присяжные оправдали: она утверждала, что ничего не помнила. Подруге потом рассказывала: «Присяжные поверили; а я и вовсе все помнила». После того долго еще

чудился по ночам плач и писк захлебывающегося в яме ребенка.

Переехала в Москву. Опять поступила в прислуги. Радостно и гордо рассказывала, что у нее в Петербурге есть муж. Обзавелась новым любовником. Теперь это для нее стало просто, как воды напиться, когда захотелось пить. Только один еще шаг до проституции. После ужаса родов в отхожем месте все в жизни стало для нее грубым, темным и простым.

Неожиданно приехал из Петербурга муж, отыскал ее, стал просить дать ему развод.

— Ни за что!

Он с месяц жил в Москве, подстерегал, чтоб уличить ее в «прелюбодеянии». Но она стала очень осторожна и не позволяла любовнику приходить. Муж просил, на коленки становился, сулил денег.

— Нет, ни за что! Нас бог соединил.

Что это было? Мстительность, злоба? Не мне, так не доставайся никому? Нет. Для нее их действительно соединил бог,— бог света и жизни. И ей казалось: если они опять сойдутся, то темная, грубо-простая жизнь опять станет для нее значительной и светлой.

И, может быть, она была права.

* * *

У нестарой еще бабы с шестью ребятами умер от сыпного тифа муж. Она иступленно плачет, проклинает бога.

— Больно уж выстарился, ничего не понимает! Сидит себе и смотрит сверху. Что он может видеть, что понимать? Как я его молила, как просила! Нет, не умолила,— взял! А для чего взял? Сам не знает. Выстарился, творит, незнамо что. Взял бы суседа,— восемьдесят лет прожил. Так не! Давай ему молодого! А это ничего, что вдова с шестью ребятами остается? Нет, довольно терпеть! Так бы вцепилась в бороду его седую!

* * *

Киево-Печерский монастырь. Внизу зеленого откоса с бесконечными лесенками, под огромными вязами,— Почаевский колодезь с навесом. Всюду цветут вишни, в бойницах монастырской стены синее Днeпр. Около колодца несколько иструганных дубовых колод. Близ каждой по несколько женщин состругивают с них перочинными ножами стружки.

На одной из колод сидела баба средних лет с костылями. Тамбовская. Зипун, синяя понёва. Лицо плакало, рот некрасиво расширялся, слезы текли по носу и подбородку. Рассказывала:

— Первые сто верст шла от своих мест, как играла. А потом,— продуло, что ли,— ноги отнялись! Доехала кое-как на машине, а от вокзала сюда три версты на карачках приползла. Две недели в печерской больнице пролежала. Вот только сегодня как будто чуть-чуть полегчало, приползла сюда. Говорят, от стружечек этих святых большая бывает помощь.

Стоял и смотрел молодой купец с красным затылком, в лаковых сапогах и длиннополом сюртуке. Спросил:

— Это вы для чего колоду стругаете?

Одна из стругавших ответила:

— Знаете, по деревенскому обычаю: зубы заболеют или что, стружечку святую приложишь,— и пройдет. Лекарства покупать достатку у нас нету. Вот мы больше святостью и лечимся.

— Ну да! — подтвердила другая.— Скажем, дитя болеет. Обкурить его этой щепочкой вместе с ладаном,— и все пройдет.

Молодица с лукавыми глазами засмеялась.

— Вот! Одна начнет скрести, за нею другие следом... Не знают сами, что делают!

Купчик авторитетно стал объяснять:

— Тут вера помогает, а не стружки. В Твери у нас было: купчиха одна сильно очень животом маялась. Доктора никак пособить не могли. Вот послала она кучера своего к святому Нилу Столбецкому настругать стружек с его столба святого, на котором подвизался. А кучер себе и говорит: «Лучше же я это время в трактире на большой дороге посижу, а стружек можно где хочешь достать». Настругал стружечек мелких у старого колеса, привез. Женщина съела — и выздоровела. От чего же она выздоровела? От колеса? От ве-еры!

Баба, сидевшая на бревне, жадно слушала и качала головой.

— Вот видишь, помог, значит, святитель!..— И с глубоким, истерическим вздохом произнесла: — Все святые преподобные, молитесь бога за меня, грешную!

Перекрестилась, наклонилась к колоде и стала ее стругать.

НА ДЕРЕВЕНСКОМ БАЗАРЕ

Становой.— Это что у тебя?

— Поросята, ваше высокородие!

— Дурак! Я и сам вижу, что поросята! А вопрос,— жирные ли?

— Очень жирные, ваше высокородие!

— Дурак! Я и сам вижу, что жирные. А вот — вкусные ли?.. Понял?

— П-понял...

НА ПОЖАРИЩЕ

Уже в начале августа иногда бывает: солнце печет, а в тени холодно, ночи же — совсем студёные. Под вечер я был в Занине. Неделю назад оно сгорело. Перед тем долго была сушь и жара, народ весь был в поле, загорелось днем при сильнейшем ветре. В полчаса всю деревню как слизнуло языком.

Стояла деревня на обоих отлогих склонах лощины. Теперь это было широкое пространство, ровное, как ток, усеянное мелким пеплом, и только закопченные печи стояли горбатыми уродами. Сзади — ивы и березы с рыжею, сморщившеюся листвою. В гору — конопляники, тоже вначале рыжие, обгорелые. На маху несколько уцелевших риг. Из ручья торчат обгорелые столбы моста. Плотина тоже сгорела, пруд убежал.

У сложенной из кирпичей печурки — сухая старуха в рваной ситцевой юбке и кацавейке, со слезящимися глазами, молодая девка и двое мальчиков. В котелке что-то кипит.

— Хлеб вы уже убрали?

Старуха ответила громким, равнодушным голосом:

— Убрали, свезли — и пожгли!

Я с недоумением огляделся.

— Где же вы теперь живете?

— В риге дрожим. Ночи-то холодные, одежда вся погорела, подостлать нечего, покрыться нечем. Лежим друг возле дружки и дрожим!

Говорила она все так же громко и равнодушно, поучающим голосом, как будто читала лекцию. Подошел мужик с русой бородой, в серой поддевке.

— Отчего загорелось?

Мужик ответил:

— Кто ж его знает!

А старуха сказала:

— Шпитонок, говорят,— значит, из воспитательного дома,— стал ребятам показывать, как пчел выкуривают.

— Ну, бабы болтают,— тоже, верить им! Одна мелет, другая подлыгает.

Говорил он тоже спокойно, с легкой усмешечкой.

— Страховку вы получите?

— Ну, как же! Получим! Богато получим,— от сорока до восьмидесяти рублей! А у Семибратова купить,— один сруб семьдесят два рубля стоит. А погорело-то ведь все,— колеса, хомуты, одежда, телеги, сани,— лошадь обротать нечем! Прольешь — не подгребешь. Все ведь новое надо заводить.

Подошло еще несколько мужиков.

— Ну, а бочки, багры,— это все у вас было?

Первый мужик ответил:

— Самое это, я вам скажу, пустое дело — багры! Ведра,— больше ничего не надо.

— Почему?

— А потому. Моя вон изба: всю ее баграми растащили. Заплатить мне за нее ничего не заплатят,— не сгорела, а чем мне лучше, нежели другим? Все побили, все поломали, порвали...

— Так ведь из леса опять можно избу сложить.

— Как ее сложишь? — заметил другой.

А первый продолжал:

— Изба-то ведь жилая была, гнилая,— тронули, и рассыпалась! Эх, бра-ат!.. Ведь теперь и иди по миру, ни копейки ведь мне страховки не дадут.

Постепенно он начинал говорить все взволнованнее, губы запрыгали, на глазах выступили слезы.

— Я на багор ругаюсь,— зачем инструмент этот такой вредный! Пускай уж, гори все подряд! Пропадай пропадом! Зачем же они мне жизнь мою изломали?!

И из груди его вырвалось короткое, глухое рыдание.

Подошедшие мужики стали рассказывать про пожар:

— Горело так, что в Марьине было жарко стоять. Из губернии запрос: «Что там такое жарко так горит?» И телеграммы об нас: «Занино! Занино!» Так со всех сторон и забирало. Прибежали с поля, бросились спасать,— куда тебе! Вихорь так и рвет, так и крутит,— со всех сторон охватило. Только и выходу, что к пруду. Так было жарко — вода в пруде закипала. Сундук в воду бросили,—он плавает, а верх горит. Одна баба сгорела, другую, в огне всю, бросили

в пруд, чуть не утопла. На другой день в Ненашеве в больнице умерла, от ожогов.

Третий сказал:

— Ну да! Ведь свое добро,— жалко! Лезет баба в избу, кругом все горит, волосы на ней трещат, а она вот так рукой заслонится и тащит сундук.

— Много все-таки спасли?

— Куда там! Дай бог самим было живу уйти!

Первый мужик — опять совсем уже спокойный — сказал, смеясь:

— Вбежал я в пруд, кричу: «Дядя Матвей, ведь ты горишь!» А он мне: «Да ведь и ты горишь!» Хвать — ан вправду картуз на голове горит! И оба мы с ним в картузах — нырн в воду!

В холодавшем воздухе стоял дружный смех.

* * *

— Как тебя звать?

— Юра, а по батюшке — Георгий!

Отец с отчаянием:

— Юрка, ну что ты за дурак такой! Как твоего отца звать? Ведь Сергей!

Юра, покраснев:

— А как же, когда меня батюшка в церкви приобщает, он меня называет Георгий?

* * *

— Я бы шофером хотел быть. Да не на что будет жить: платить не станут.

— Почему не станут платить?

Ванька удивился:

— За что же платить?

* * *

— Мама, ты меня любишь?

— Когда ты хороший мальчик,— люблю, а когда нехороший,— не люблю.

Вздыхнул.

— А я тебя всегда люблю.

* * *

Перед окном кондитерской. Маленький мальчик пристально глядит на пряник. Я спросил:

— Что, брат, хорош пряник? Давай-ка купим!

Он ответил басом:

— Денег нет.

— А мы, давай, вот что: поделим работу. Я пойду куплю, а ты съешь.

Он помолчал, подумал и сказал:

— Ну, ладно.

Так и сделали. И оба получили большое удовольствие.

* * *

Иду в Крыму по саду нашего дома отдыха. С горы на встречу, выпучив глаза, мчится со всех ног мальчугашка лет пяти.

— Дяденька, беги!

— Чего мне бежать?

— Беги скорей! Сторожа пришли!

— Чего мне бежать от сторожей?

Он остановился на бегу, с недоумением оглядел меня:

— За уши оттреплю!

И помчался дальше.

Вот подите: такая ужасная опасность, каждая минута на счету, а он все-таки остановился, чтобы предупредить меня. Спасибо, товарищ!

ВСЮ ЖИЗНЬ ОТДАЛА

Трамвайный вагон подходил к остановке. Хорошо одетая полная дама сказала упитанному мальчику лет пяти:

— Левочка, нам тут сходить.

Мальчик вскочил и, толкая всех локтями, бросился пробиваться к выходу. Старушка отвела его рукою и сердито сказала:

— Куда ты, мальчик, лезешь?

Мать в негодовании вскричала:

— Как вы смеете ребенка толкать?!

Высокий мужчина заговорил громким, на весь вагон, голосом:

— Вы бы лучше мальчишке вашему сказали, как *он* смеет всех толкать? *Он* идет, — скажите, пожалуйста! Все должны давать ему дорогу! Он самая важная особа! Растите хулиганов, эгоистов!

Мать возмущенно отругивалась. Мальчик с открытым ртом испуганно глядел на мужчину.

Вагон остановился, публика сошла. Сошла и дама с мальчиком. Вдруг он разразился отчаянным ревом. Мать присела перед ним на корточки, обнимала, целовала.

— Ну, не плачь, мальчик мой милый! Не плачь! Не обращай на него внимания! Он, наверное, пьяный! Не плачь!

Она взяла его на руки. Мальчик, рыдая, крепко охватил ее шею. Она шла, шатаясь и задыхаясь от тяжести, и повторяла:

— Ну, не плачь, не плачь, бесценный мой!

Мальчик стихал и крепко прижимался к матери.

Пришли домой. Ужинали. Мать возмущенно рассказывала мужу, как обидел в трамвае Левочку какой-то, должно быть, пьяный хулиган. Отец с сожалением вздохнул.

— Эх, меня не было! Я бы ему ответил!

Она с гордостью возразила:

— Я ему тоже отвечала хорошо... Ну, что, милый мой мальчик! Успокоился ты?.. Не бери сливу, она кислая.

Мать положила сливу обратно в вазу. Мальчик с упрямыми глазами взял ее и снова положил перед собою.

— Ну, детка моя, не ешь, она не спелая, расстроишь себе животик... А вот, погоди, я тебе сегодня купила шоколаду «Золотой ярлык»... Кушай шоколад!

Она взяла сливу и положила перед мальчиком плитку шоколада. Мальчик концами пальцев отодвинул шоколад и обиженно нахмурился.

— Кушай, мальчик мой, кушай! Дай, я тебе его разверну.

Отец сказал просительным голосом:

— Левочка, дай мне кусочек шоколада!

— Не-ет, это для Левочки,— возразила мать.— Специально для Левочки сегодня купила. Тебе, папа, нельзя, это не для тебя... Ну, что же ты, детка, не кушаешь?

Мальчик молчал, капризно нахмурившись.

— Ты, наверно, еще не успокоился?

Мальчик подумал и ответил:

— Я еще не успокоился.

— Ну, успокойся, тогда скушаешь, да?

Мальчик молчал и не смотрел на шоколад.

Через двадцать лет. Эта самая дама, очень исхудавшая, сидела на скамеечке Гоголевского бульвара. Много стало серебра в волосах, много стало золота в зубах. Она с отчаянием смотрела в одну точку и горько что-то шептала.

Трудную жизнь она прожила. Еще до революции муж ее умер. Она собственным трудом воспитала своего мальчика, во всем себе отказывала, после службы давала уроки, переписывала на машинке. Сын кончил втуз инженером-электротехником, занимал место с хорошим жалованьем. И вот — она сидела, одинокая, на скамеечке бульвара под медленно падавшим снегом и горько шептала:

— Я, я ему всю жизнь отдала!

Они с сыном занимали просторную комнату в Нащокинском переулке. Сын задумал жениться. Сегодня она получила повестку с приглашением явиться в качестве ответчицы в суд: сын подал заявление о выселении ее из комнаты. Уже четыре года назад, когда они получили эту комнату, Левочка предусмотрительно вписал мать проживающею «временно». Это больше всего ее потрясло: значит, тогда уже он на всякий случай развязывал себе руки...

— А я ему всю жизнь отдала!..

Снег пушистым слоем все гуще покрывал ей голову, плечи и колени. Она сидела неподвижно, горько шевеля губами. Кляла судьбу, в которую не верила, винила бога, в которого полуверила. Не винила только себя, что всю жизнь отдала на выращивание эгоиста, приученного думать только о себе.

МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК

С начала девятисотых годов до Октябрьской революции в Москве существовал Литературно-художественный кружок — клуб, объединявший в себе все сливки литературно-художественной Москвы. Членами клуба были Станиславский, Ермолова, Шаляпин, Собинов, Южин, Ленский, Серов, Коровин, Васнецов, все выдающиеся писатели и ученые, журналисты и политические деятели (преимущественно кадетского направления). Это были действительные члены. Кроме того, были члены-соревнователи, — без литературно-художественного стажа: банкиры, фабриканты, адвокаты и почему-то очень много зубных врачей. Эти члены права голоса на общих собраниях не имели. В чем они могли в Кружке «соревноваться» — неизвестно. А чем они были полезны Кружку, будет видно из последующего.

Ежегодный членский взнос действительных членов был — 15 рублей, членов-соревнователей — 25. Формально говоря,

эти членские взносы были единственным доходом Кружка; в год это составляло не больше десяти тысяч рублей. Между тем Кружок занимал огромное роскошное помещение на Большой Дмитровке в доме Востряковых, № 15 (где впоследствии помещался Московский Комитет ВКП(б), а теперь — Верховная прокуратура СССР). За одно это помещение Кружок платил сорок тысяч в год, ежегодно ассигновывал по 5—6 тысяч на пополнение библиотеки и столько же — на приобретение художественных произведений, оказывал материальную помощь нуждающимся писателям и художникам. Библиотека была великолепная, стены Кружка были увешаны картинами первоклассных художников; особенно много было портретов: знаменитый серовский портрет Ермоловой, Лев Толстой — Репина, Южин и Ленский — Серова, Шаляпин — Головина, Чехов — Ульянова, Брюсов — Маяков и др. Думаю, не ошибусь, если скажу, что действительный ежегодный бюджет Кружка был 150—200 тысяч рублей. Откуда же получались эти деньги?

В верхнем этаже был большой, с невысоким потолком зал, уставленный круглыми столами с зеленым сукном. Настоящею жизнью этот зал начинал жить с одиннадцати — двенадцати часов ночи. Тут играли в «железку». Были столы «золотые», где наименьшею ставкою был золотой. Выигрывались и проигрывались тысячи и десятки тысяч. Втягивались в игру и развращались все новые и новые люди. Ходит вокруг столов какой-нибудь почтенный профессор или молодой писатель, с ироническою усмешкою наблюдает играющих; балуясь, «примажется» к чьей-нибудь ставке, поставит золотой десятирублевик, выиграет (к начинающим судьба обыкновенно бывает очень милостивой), возвращается к ужинающим в столовой приятелям и говорит, посмеиваясь:

— Вот, заработал себе на ужин!

Глядишь, — через год-другой он уже не выходит из верхнего зала, уже не примазывается, а занимает место за столом и играет все ночи напролет. Вот тут-то «соревновались» и члены-соревнователи, вот для этой-то цели они и выбирались.

Приходилось тут наблюдать очень странные типы. Аккуратно после театра являлся сюда артист Малого театра К. Н. Рыбаков — великолепный актер, сын знаменитого Н. Х. Рыбакова. Высокий, плотный, очень молчаливый. Пристраивался около стола, где шла самая крупная игра, и — смотрел. В игре никогда не участвовал. Но смотрел очень внимательно, не отрываясь. Сюда же спрашивал себе ужинать и ел за приставленным маленьким столиком, продолжая следить за игрой. Молчит. По тонким бритым губам пробегает чуть

заметная усмешка. Просиживал аккуратно до шести часов утра,— крайний срок, до которого разрешалась игра,— и уходил последним. И — никогда не играл. Меня очень он интересовал. В чем дело? Знающие люди мне объяснили. Так бывает с ярыми игроками, бросившими играть. Когда-то Рыбаков жестоко проигрался, дал себе слово не играть. И вот мысленно переживал все перипетии чужой игры, находя в этом своеобразное наслаждение.

Много видов видал этот верхний зал Кружка, о многих острых событиях могли бы рассказать его стены. Вот одно из таких событий, о котором долго говорили в Кружке.

Поздняя ночь. В накуренном верхнем зале ярко горит электричество. Вокруг одного из «золотых» столов — густое кольцо зрителей. Все взволнованно следят за игрой. Мечет банк знаменитый артист Малого театра князь А. И. Сумбатов-Южин. Лицо его спокойно и бесстрастно. Вокруг стола в волнении расхаживает уже мною упомянутый артист К. Н. Рыбаков (он тогда еще играл). Поглядывает на стол, хватается за голову и говорит про себя:

— Нет, он положительно — сумасшедший! Он — с-у-м-а-с-ш-е-д-ш-и-й!

Рыбаков половиною долею вошел в банк, заложенный Южиным. Девять раз Южин выиграл, в банке двадцать пять тысяч. Но Южин продолжает метать.

— Даю карту!

Выигрывает в десятый раз. В банке пятьдесят тысяч. Рыбаков требует кончить. Но Южин как будто не слышит и опять:

— Даю карту!

Проигрыш почти уже верный. Присутствующие ставят последние деньги в расчете на выигрыш, глаза горят, лица бледны, руки дрожат. Только руки Южина спокойны, и лицо по-прежнему бесстрастно.

Выигрыш — в одиннадцатый раз! В банке сто тысяч. И опять спокойный голос:

— Даю карту!

Общее молчание. И денег таких ни у кого нет, да если бы и были, так не пойдут,— всех охватил тот мистический ужас перед удачей, который знаком только игрокам.

Южин повторяет:

— Даю карту!

По губам его пробегает заметная озорная улыбка. Рыбаков оживает: желающих нет. Вдруг тихий старческий голос:

— Позвольте карточку! По банку!

Табачный фабрикант-миллионер Бостанжогло. Золотым пером пишет чек на сто тысяч рублей и кладет на стол.

Южин мечет. Открывают карты. У Южина пять очков, у Бостанжогло — победоносная девятка. Банк сорван.

Рыбаков схватился за голову и тяжело упал в кресло. А князь Сумбатов-Южин барственным жестом провел рукою по лбу и спокойно-небрежным голосом сказал:

— Ну, а теперь пойдем пить красное вино!

Этот-то верхний зал и служил главным источником дохода Кружка. Официально игра должна была кончаться в двенадцать часов ночи. За каждые лишние полчаса играющий платил штраф, увеличивавшийся в очень значительной прогрессии. Окончательно игра прекращалась в шесть часов утра. Досидевший до этого часа платил штрафу тридцать два рубля. Вполне понятно: человеку, выигравшему за ночь сотни и тысячи, ничего не стоило заплатить эти тридцать два рубля; человек, проигравший сотни и тысячи, легко шел на штраф в надежде отыграться.

Отсюда и шли в кассу Кружка основные его доходы. Так было везде, на такие доходы жили все сколько-нибудь крупные клубы. Часто против такого положения дел в Кружке раздавались протестующие голоса, говорили, что стыдно клуб сливок московской интеллигенции превращать в игорный притон и жить доходами с него. На это с улыбкой возражали: в таком случае нужно будет либо членские взносы повысить в двадцать — тридцать раз, либо нанять квартиру по сто рублей в месяц, обходиться двумя-тремя служащими, держать буфет только с водкой, пивом и бутербродами, выписывать в читальню пять-шесть газет и журналов. В такой клуб никто не пойдет.

И вот: анфилада больших залов с блестящим паркетом, уютной мягкой мебелью и дорогими картинами по стенам, многочисленные вежливые официанты в зеленых фраках с золотыми пуговицами, огромный тихий читальный зал с мягкими креслами и турецкими диванами, с электрическими лампами под зелеными абажурами, держащими в тени потолок; на столах — всевозможные русские и заграничные газеты и журналы; чудесная библиотека с редчайшими дорогими изданиями. Прекрасный буфет, недорогой и изысканный стол, тончайшие вина. Очень удобно было наблюдать до того мне совсем не знакомую жизнь старорежимного клуба и широкие круги сливок московской интеллигенции.

В помещении Кружка заседали многочисленные литературные и художественные общества: Общество деятелей периодической печати и литературы, литературный кружок

«Среда», Общество свободной эстетики и др. Устраивались банкеты и юбилейные торжества. В большом зрительном зале по пятницам происходили исполнительные собрания — выступали лучшие артисты и певцы, члены Кружка и приезжие знаменитости. По вторникам читались доклады на литературные, художественные, философские и политические темы. Диспуты часто принимали очень интересный и острый характер.

Ярко стоит в памяти один из таких диспутов. Приехавший из Петербурга модернист Д. В. Философов читал доклад о книге Льва Шестова «Апофеоз беспочвенности». Зашел ко мне Ив. Ив. Скворцов-Степанов — большевик, будущий редактор «Известий». Я ему предложил пойти на доклад. Он в Кружке никогда еще не бывал. Заинтересовался. Пошли вместе.

На эстраде за столом, покрытым зеленым сукном, — докладчик, приехавшие с ним из Петербурга Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, Андрей Белый. Председествовал поэт-модернист С. А. Соколов-Кречетов. Докладчик по поводу книги Шестова говорил о нашей всеобщей беспочвенности, о глубоком моральном падении современной литературы, о мрачных общественных перспективах. Потом начались прения. Выступил Андрей Белый с длинной исторической речью. Он протягивал руки к публике и взволнованно говорил об ужасающей всеобщей беспочвенности и беспринципности, о безнадежности будущего, о неслыханном моральном разложении литературы. Писатели занимаются тем, что травят собаками кошек. (В это время петербургские газеты шумели по поводу забавы, которую выдумали себе один небезызвестный беллетрист и два журналиста: они привязывали к ножке рояля кошку и затравливали ее фокстерьерами.)

— Литература сплошь продалась! — восклицал Белый. — Осталась небольшая группа писателей, которая еще честно держит свое знамя. Но мы изнемогаем в непосильной борьбе, наши силы слабеют, нас захлестывает волна всеобщей продажности... Помогите нам, поддержите нас!..

Андрей Белый был замечательный оратор. Речь его своею страстностью чисто гипнотически действовала на слушателей, заражала своею интимностью и неожиданностью. Публика горячо аплодировала.

Иван Иванович слушал, пожимал плечами и давился от смеха.

— Нет, не могу вытерпеть! Разрешается у вас выступать посторонним?

— Конечно.

Вышел — огромный, громовоголосый. Вначале слегка задышался от волнения, но вскоре овладел собою, говорил едко и насмешливо. Недоумевал, почему так безнадежно смотрят выступавшие ораторы на будущее, говорил о могучих «общественных силах», временно побежденных, но неудержимо вновь поднимающихся и растущих. Потом о литературе.

— Господин Андрей Белый в пример развращенности нашей литературы приводит бездарного писателя, получившего известность за откровенную порнографию, да двух газетных репортеров, занимавшихся совместной травлею кошек. И это — наша литература? Они — литература, а Лев Толстой, живущий и творящий в Ясной Поляне, он — не литература? (Гром рукоплесканий.) Жив и работает Короленко, — это не литература? Максим Горький живет «вне пределов досягаемости», — как вы думаете, неужели потому, что он продан? Или и он, по-вашему, не литература? Господин Андрей Белый докладывает вам, что осталась в литературе только ихняя кучка, что она еще не продана, но ужасно боится, что ее кто-нибудь купит. И умоляет публику поддержать ее. Мне припоминается старое изречение: «Добродетель, которую нужно стеречь, не стоит того, чтобы ее стеречь!» Так и с вами: боитесь соблазниться, боитесь не устоять, — и не надо! Продавайтесь! Не заплачем! Но русскую литературу оставьте в покое: она тут ни при чем!

Как будто в душную залу, полную тонко-ядовитых, ослабляющих испарений, ворвался бурный сквозняк и вольно носился над головами притихшей публики. Когда Скворцов кончил, загрели рукоплескания, какие редко слышал этот зал.

Вскочил Мережковский с бледным от злобы лицом. С вызовом глядя черными гвоздиками колючих глаз, он заявил, что публика совершенно лишена собственных мыслей, что она с одинаковым энтузиазмом рукоплещет совершенно противоположным мнениям, что всем ее одобрениям и неодобрениям цена грош.

— И я вам докажу это. Вот я вас ругаю, — а заранее предсказываю с полной уверенностью: вы и мне будете рукоплескать!

И, правда, — зарукоплескали. Но рядом раздались свистки, шиканье. Многие из слушателей порывались на эстраду, но председательствовавший Соколов-Кречетов не давал им слова. Все-таки одна курсистка взбежала на эстраду и взволнованно заявила:

— Я должна объяснить господину Мережковскому то, что

он должен бы понимать и сам: «Публика» — это не организм с одним мозгом и двумя руками. Одни рукоплещут Скворцову, другие — ему.

Пришлось закрыть собрание. Иван Иванович смеялся и потирал руки.

— Очень интересный провел вечерок! Никогда ничего такого не видал. Спасибо вам!

БУКЕТЫ

В учительской комнате женской гимназии сидело несколько учителей. Старый учитель математики сказал:

— Андрей Владиславович меня зовут. Никогда не встречал другого человека с таким именем-отчеством.

Недавно переведшаяся в школу учительница истории, тоже сильно пожилая, возразила:

— Ну, это не удивительно. Отчество ваше — у нас, русских, довольно редкое. Но вот странность: и имя, и отчество у меня самые обыкновенные, — Наталья Александровна, — а я тоже до сих пор никого не знала с таким именем-отчеством.

Старый математик мечтательно сказал:

— Нет, я знал одну Наталью Александровну. Это была моя первая любовь. Наташа Козаченко.

Учительница с удивлением сказала:

— Простите, я вас никогда не встречала, а моя девическая фамилия — Козаченко.

Математик пренебрежительно оглядел ее.

— Нет, это были не вы. Может быть, родственница ваша. Гимназистка, чудесная девушка с русой косой и синими глазами.

— Это в Киеве было?

— Да.

— Она жила на Трехсвятительской улице?

— Да, да!

— Так это была я.

Он пристально смотрел на нее, и, как сквозь сильно запотевшее стекло, сквозь темное морщинистое лицо с потухающими глазами проступило лицо прежней синеглазой Наташи Козаченко.

— Да, да... Ведь верно... Это, значит, вы и есть!..

— Но все-таки... Я вас не знала.

— Ну, фамилию-то должны знать. Я вам каждый день присылал по букету роз, у меня в саду чудесные розы росли. Самые срезал лучшие.

- Букеты мне приносил гимназист Владимир Кончер.
— Ну, да! От меня.
— Он этого не говорил.
— Как?! — старик ударил себя по лбу. — От своего лица, значит?
— Да.
— Вот подлец!

СУПРУГИ

(Пунктирный портрет)

М у ж

— Писатель?! Очень, очень рад! Благословляю грозу, загнавшую вас под мой убогий кров! Люблю писателей, ученых! Я сам кавалерист!

— «Зе воркс оф Шакеспеаре»...¹ Шекспир! Гулять идете и то книжку с собой берете, да еще на английском языке! По-английски могут понимать только очень умные люди... Но вот что: барометр еще с утра сильно упал. Как же вы, несмотря на это, пошли в такую далекую прогулку?

— У меня нет барометра.

— Нет барометра?.. Гм! Английский язык зңаете, а барометра нету?

— Пианино — не так чтобы из Художественного театра, но все-таки ничего, играть можно.

— (О Шаляпине.) Прилично поет.

Ж е н а

— С ними из Минеральных вод ехал в вагоне один... Как его? Персидский, кажется, консул... Вообще, из Турции.

— Никогда не следует спрашивать женщину о годах. Важно, какую она сама себя чувствует. Если чувствует себя тридцатилетней, то и может сказать, что ей тридцать лет.

¹ «The works of Schakespeare» — «Сочинения Шекспира» (англ.).

— Ну, да, это еще один король французский сказал: «Лета — с'э муа».

— Странанья необходимы человеку. Они воспитывают его, облагораживают его душу.

— Да, да! И французы то же самое говорят: pour être belle, il faut souffrir¹!

— Мы с мужем объяснились в любви, совсем как Кити и Левин в «Анне Карениной». Только те много разных букв писали, пока сталкивались, а мы сразу друг друга поняли. Он всего три буквы написал: «я В. л.». А я ему в ответ четыре: «и я В. л.»

— Никогда я не могла понять, как это люди верят во всякие предрассудки. Ну, я понимаю: тринадцать человек за столом, три свечи, заяц перебежал дорогу... А всякие там предрассудки... Не понимаю.

* * *

Дачный поселок Коктебель лет тридцать назад состоял всего из двадцати пяти, тридцати дач. Там имели дачи поэт Волошин, артистка московского Большого театра Дейша-Сионицкая, поэтесса Соловьева-Аллегро, детская писательница Манасеина, артист петербургского Мариинского театра, бас Касторский, искусствовед Новицкий, известный публицист, бывший священник Григорий Петров и другие.

Среди дачников представительницею порядка, благовоспитанности и строжайшей нравственности была М. А. Дейша-Сионицкая. Представителем озорства, поспраивания всех законов божеских и человеческих, упоенного «эпатирования буржуа» (ошарашивания мещанина) был Максимилиан Александрович Волошин, или, как его все называли, Макс Волошин. Он был грузный мужчина с огромной головой, покрытой буйными кудрями, которые придерживались ремешком или венком из полыни; ходил в длинном древнегреческом хитоне, с голыми икрами и с сандалиями на ногах. Вокруг него группировалась талантливая местная и приезжая молодежь. Сами они называли себя «обормотами» и яро враждовали с благонравною частью населения, возглавлявшеюся Дейша-Сионицкой.

¹ Хочешь быть красивым — страдай! (франц.)

Энергией и хлопотами Дейша-Сионицкой в Коктебеле было основано общество благоустройства поселка. До этого времени мужчины и женщины купались в море, где кто хотел, и это, конечно, было для многих женщин очень стеснительно. Теперь пляж был поделен на отдельные участки и на границах их поставлены столбы с надписями: «для мужчин», «для женщин». Один из таких столбов пришелся как раз против дачи Волошина. Волошин выкопал столб, распилил на дрова и сжег. Дейша-Сионицкая, как председательница общества благоустройства, написала на Волошина жалобу феодосийскому исправнику Михаилу Ивановичу Солодилову.

Исправник прислал на имя «Макса Волошина» грозный запрос, на каком основании он позволил себе такое неприличное действие, как уничтожение столба на пляже. Волошин ответил: во-первых, его зовут не Макс, а Максимилиан Александрович. Правда, друзья называют его «Макс», но с исправником Солодиловым он никогда брудершафта не пил. Во-вторых, он, Волошин, считает неприличным не свой поступок, а водружение перед его дачею столба с надписями, которые люди привыкли видеть в совершенно определенных местах.

Суд присудил Волошина к штрафу в несколько рублей.

Волошин обладал изумительною способностью сходитьсь с людьми самых различных взглядов и общественных положений. Он был в дружеских отношениях с тогдашним таврическим губернатором Татищевым. Однажды, вскоре после вышеописанного происшествия со столбом, жена губернатора, проездом из Феодосии в Судак, заехала к Волошину и обедала у него. Исправник же Солодилов, как тогда полагалось, дежурил у ворот дачи при губернаторской коляске. Губернаторша вышла, радушно простилась с Волошиным и уехала. Солодилов подошел к Волошину, дружески взял его под руку, отвел в сторону и сказал:

— Максимилиан Александрович! Вам тогда не понравилось, что я называл вас Максом. В таком случае, пожалуйста, называйте меня — Мишей.

П. Ф. ЛЕСГАФТ

Было это в 1909 году, — помнится, в декабре. В гробу лежал сухенький старичок с седою бородою, с очень высоким и крутым лбом. Гроб стоял в мрачной лютеранской часовне. Стрельчатые дуги арок, стрельчатые узкие окна. Сумрак

вокруг. А в раскрытые двери знойно сверкала под солнцем песчаная пустыня, в далекой утренней дымке узорчато чернели финиковые пальмы, и караван верблюдов, звеня бубенцами, тянулся к городу.

Над гробом стоял черноусый немецкий пастор с наружностью доцента фармакогнозии и произносил надгробную проповедь. Он говорил:

— Возлюбленный брат! Ты, наконец, достиг того успокоения и отдыха, которого тщетно ждал всю свою жизнь! Покинутые тобою, мы горько скорбим о себе, — но за тебя мы должны только радоваться: пришел срок, — ты сложил с усталых плеч бремя жизни и идешь успокоиться навеки на родительском лоне господа нашего бога!

И еще больше, чем готическая часовня на фоне африканской пустыни, резали душу эти слова пастора, обращенные к тому, кто лежал в гробу. Мне казалось: старичок сейчас быстро поднимется, выскочит из гроба, стремительной своей походкой налетит на пастора и отчитает его так, как только он умел отчитывать. Докажет ему ясно, что никакого он никогда в жизни не искал покоя, что жизнь жива и прекрасна энергичною работою, что жизнь — не бремя, а крылья, творчество и радость, а если кто превращает ее в бремя, то в этом он сам виноват! И наклонялся бы к лицу опешившего пастора и спрашивал бы:

— Ясно?.. Ясно?.. Ну что? Ясно теперь?..

И пастор смущенно пятился бы от старичка, как пятился от него я двадцать пять лет назад. Да, верно: назад ровно двадцать пять лет, в декабре 1884 года. Я тогда был юным студентом-филологом Петербургского университета. Случайно я забрел на лекцию анатомии, которую этот самый чудесный старичок читал юристам (для судебной медицины). Читал совсем по-особенному: он волчком носился по аудитории с разрезом височной кости, совал ее под глаза каждому студенту и старался растолковать взаимное расположение полукружных каналов. Стремительно налетел и на меня, и указывал пинцетом ход каналов, и спрашивал:

— Ясно? Ясно теперь?.. Ну что? Ясно?..

А я краснел и старался ретироваться. И вот теперь, через двадцать пять лет, в Гелуане, под Каиром, я стоял на панихиде по этом самом старичке: месяц назад врачи для чего-то послали его из Петербурга умирать в далекий Египет. Профессор Петр Францевич Лесгафт.

Лесгафт!.. Кто знал его, тот поймет: Лесгафт — и искание покоя! Лесгафт — и бремя жизни! Да, отчитал бы он этого пастора с его «бременем жизни»!

Рудометов. Сибиряк. Высокого роста, крепкий, с большой головой. Напоминал Петра Первого. Был сектантом и очень был фанатичен: не только не ел убоины, но даже не убивал паразитов. Летом работал грузчиком, зарабатывал хорошо, зимою читал и учился. Потом поступил в почтальоны.

Однажды другой почтальон принес воинскому начальнику заказное письмо и не снял перед ним шапки. Воинский начальник его избил. Плачущий, окровавленный почтальон рассказал об этом Рудометову. Три дня Рудометов ходил мрачный, задумчивый, по ночам сидел на кровати и угрюмо думал. А на четвертый день попросил избитого товарища передать ему не в очередь доставку почты воинскому начальнику. Доставил и не снял шапки. Воинский начальник его в зубы.

Тогда Рудометов сказал:

— Отец помирал, не велел мне никогда долга на себе держать!

Развернулся и ударил начальника так, что тот отлетел в угол. И зверски потом избил. Судили. Несколько лет отсидел в тюрьме. Сектанты, его единовверцы, отнеслись к нему с решительным осуждением. Тогда он ушел от них.

Был мобилизован на войну. Во время керенщины, на австрийском фронте, сказал пламенную речь против войны до победного конца. Оказался прекрасным оратором, имел огромный успех, солдаты носили его на руках. Говорил от нутра, ни к какой революционной партии не принадлежал. Раз в Одессе, когда выступил против кадетов с требованием прекращения войны и отдачи всей земли крестьянам без выкупа, ему закричали:

— Большевик!

Тут он понял, к какой принадлежит партии, и вскоре стал большевиком.

Теперь он ответственный работник. Но прежний сектантский аскетизм крепко сидит в нем. Живет с женою и семьею брата в одной комнате, никогда не пользуется машиной, ходит всегда пешком.

По новому шоссе, близ Тимирязевской сельскохозяйственной академии, неслась под гору легковая машина. Шофер с испуганным лицом давал непрерывные гудки и старался затормозить машину. Внизу, посреди неширокого моста, озор-

ной мальчишка лет девяти, балуясь, удерживал на месте пятилетнего братишку и не давал ему убежать. Всем было ясно со стороны, что мальчишка с братом не успеют увернуться. Мать с воплем бежала к мосту.

Гибель ребят была неминуема. Вдруг в последний момент шофер повернул руль, — и машина вместе с шофером рухнула в овраг.

Сбежался народ. Окровавленный шофер без чувств лежал в поломанной машине. Вызвали скорую помощь. Люди в белых халатах вынесли раненого в носилках из оврага. У него были перебиты обе ноги. Затуманенные глаза раскрылись. Морщась и крепко закусив губы, чтобы не стонать, он смотрел на облака.

Белая карета с красным крестом уехала. Народ взволнованно обсуждал случившееся. Гражданин в кепке с треугольником рыжеватых волос на верхней губе, громко говорил:

— Ничего бы ему не было, если бы раздавил ребят. Дело вполне ясное. Я сам шофер, знаю порядки. Вон сколько свидетелей кругом, все видели. Ничего бы не было! А он — и сам погиб, и машину поломал. Наверно, не знал законов.

* * *

Зимой 1906—1907 года, в Москве. В актовом зале университета происходило заседание Общества любителей российской словесности. Читали И. А. Бунин, я и еще поэты, не помню какие.

Я читал свой рассказ из русско-японской войны «В мышеловке». В нем описывалась жизнь передового нашего люнета, тщеславием корпусного командира выдвинутого без всякой надобности далеко вперед к вражеским позициям. Солдаты этот люнет прозвали «Мышеловкой».

Читал я в это время очень плохо, голос у меня не был поставлен, я не умел его принаравливать к акустическим условиям помещения, дикция была плохая. А акустика актового зала была очень неважная.

Начал я читать. Как я потом узнал, ничего в моем чтении нельзя было разобрать, слышно было только:

— Бу-бу-бу-бу...

Когда я поднимал глаза, я видел мучительно вслушивающиеся лица, ладони, приставленные к ушам. Потеряв надежду что-нибудь услышать, слушатели стали потихоньку разговаривать.

Ночью происходит смена охранения люнета. Все идут,

затаив дыхание. Когда спускались в окоп, один солдат зацепил прикладом за котелок. Ротный грозно зашипел:

— *Тише вы, черти!*

Эти слова раздельно пронесли по всему залу. Разговаривавшие испуганно взглянули на меня и сконфуженно замолчали.

И опять потекло ровное, томительное: «бу-бу-бу-бу», гулко отражаемое гладкими стенами зала. Минут двадцать тянулось чтение. Слушатели окончательно потеряли терпение. Потихонечку, один за другим, стали они подниматься и на цыпочках, балансируя руками, выходили из зала.

В люнете командир роты убит японскою пулею. Солдаты взволнованно затеснились к трупам, напирали друг на друга и вытягивали головы. Младший офицер, к которому перешло командование, властным голосом крикнул:

— *Куда поперли? По местам!*

Выходившие так и замерли.

АННА ВЛАДИМИРОВНА

(Пунктирный портрет)

Ей двадцать пять, двадцать шесть лет. Худошавая, — больна чахоткой, но этого не знает. Красивое лицо, но главная красота — огромные, лучистые глаза, наивные и невинно-наглые. Дочь жандармского генерала, давно умершего. У нее хорошенькая дочка Муся, лет семи, неизвестно от кого. Сейчас при ней сосед по комнате, студент Макс с масляными глазами. Как дочь жандармского генерала, получает пенсию — тридцать два рубля в месяц. Но главный источник доходов — всяческие пособия, которые она умеет выхлопывать как первейшая артистка в подобных делах.

Пушки Петропавловской крепости гремят над Петербургом: царица разрешилась от бремени. Оказалось — опять дочерью, но сначала слух прошел, что — долгожданным сыном.

Анна Владимировна сидит у стола и, торопясь, пишет прошение.

— Что это вы пишете?

— Прощение министру императорского двора. О пособии. Вы слышали? У царя родился сын.

— Так вы-то тут при чем?

— Должен же он быть рад, что у него наконец сын родился. Отчего ему на радостях не отпустить мне триста рублей, — что ему стоит?

— Надела я свою министерскую кофточку...
— Министерскую?
— Да. У меня такая кофточка есть, чтоб ходить по министрам: скромная, в три складки. Выглядит бедно, но благородно. Чтоб их разжалобить... И я министру Витте прямо сказала: «Вы черствый человек, вы сухой человек, наверно, вас никогда ни одна женщина не любила! И, наверно, вы всю жизнь пили только молоко и кипяченую воду!» Через неделю опять пошла к нему на прием. А он не велел меня больше записывать. Я все-таки в залу проскользнула. Прием большой. Вызывают степного генерал-губернатора Духовского. Маленький и толстый, как лампа. Живот — вот такой. Я бросилась к двери, а дверь узенькая. Я с его животом и столкнулась. Он, конечно, воспитанный человек, уступил мне дорогу. Витте меня увидал: «Опять вы?!» — «Опять я!» Плюнул и подписал на моем прошении резолюцию: «Выдать просимое пособие».

— Ужасно не люблю непроизводительных расходов.
— Каких, например?
— Калоши покупать, зубы пломбировать, платить за квартиру.
— Какие же расходы производительные?
— Ну... в оперетку поехать, коробка конфет хороших. Бутылка шампанского.
— Люблю много на чай давать.
— Ну да... все-таки, — рабочие люди...
— На это мне наплевать. А чтоб была любовь и готовность. Ужасно люблю, чтоб меня кругом все любили.

— Терпеть не могу работать. Когда уж ничего добывать не смогу, пойду туда, где пенсию получают старушки. Всякая, как получит деньги, с удовольствием даст.

Свою дочку Мусю отдала на казенный счет в балетную школу.

— По крайней мере, будет нравиться старичкам. Пускай балериной будет. Можно хорошую партию себе устроить.

— Это лето мы жили в Уфимской губернии у Мефодия Егорыча. Ничего нет, только семь тощих собак на дворе. Скука; есть нечего, только одни яйца. Муся ходит по комнатам и твердит: «Не бойтесь, Мефодий Егорыч, я вас не боюсь!»

Такой дурак этот Мефодий Егорыч! Я разденусь, лягу спать,— он придет ко мне в спальню и сидит. Целует руки и не хочет уходить. Говорит: «Ведь жарко, зачем вы в одеяло кутаетесь?» А денег нет у меня, выехать не на что. Приехал становой описывать имение, я у него двадцать пять рублей заняла...

Общий хохот. Она недоумевающе оглядывает всех своими ясными глазами.

— Чего вы смеетесь?

— Несимпатичный он!

— Нет, он красивый!

— Макс! Кто председателем суда в Полтаве?

— Я почему знаю!

— Вот дурак, ничего не знаешь!

— Он мой друг и очень большой негодяй.

— Я, когда градусником меряю,— вижу, что к тридцати девяти подходит,— поскорей выдергиваю. Боюсь, вдруг сорок градусов окажется. Страсть боюсь, когда сорок градусов температура.

— Жена доктора очень меня ревнует. А сама красная и глупая, как пион. Сцену мне устроила, дурища такая. Я нарочно ухожу и говорю: «Миленький доктор, прощайте!»— и чмок его в щеку!

— Нет, к другому доктору не хочу. Вдруг он мне скажет: у вас чахотка. Ведь есть такие жестокие доктора.

— Я как-то захандрила, говорю Макс: «Наверно, у меня чахотка!» А он, дурак такой: «Что ты! У чахоточных бывает необыкновенный блеск в глазах и по ночам поты». Ушел он, я подошла к зеркалу,— у меня в глазах фосфорический свет, клянусь вам богом! И всю ночь так трясло,— от постели поднимало. Чуть у меня от страха не сделалась белая горячка!

— Нет, я не хочу умирать. Гробы всегда такие узкие!

ФЕЛЬДШЕР КИЧУНОВ

(Пунктирный портрет)

Звали его Иван Михайлович. Фельдшер приемного покоя больницы, где я тогда работал ординатором. Редкие усы и бо-

родка, держится солидно, с большим достоинством. Вид грубокомысленный, на жизнь и людей смотрит свысока, с затаенною в глазах сожалеющею усмешкою. Истина жизни вся целиком, до последней буквочки, находится у него в жилетном кармане.

На дежурстве вечером, когда поток привозимых больных почти иссякает и гулко звучат в пустых коридорах шаги проходящей сиделки, иногда засидишься в приемном покое и беседуешь с Иваном Михайловичем.

— Как, Иван Михайлович, дела?

— Какие ж у меня дела! В гости я не хожу, картами и водочкой не занимаюсь, за девочками не бегаю... В церковь сходить, свечечку поставить в гривенник, просвирку подать — вот и все мои дела. Дома Библию почитаю. Дела у меня обыкновенные. Вчера Библию купил себе новую. Книга фундаментальная, пятнадцать фунтов весом! Приятно иметь такую книгу. Переплет красивый, — не барский, этого нельзя сказать, — скромный, смирный, но обращает на себя строгое внимание. Книга, можно сказать, вполне официальная.

— Вы всегда, Иван Михайлович, были такой благочестивый?

— Нет-с, не всегда. Раньше я был не такой. Раньше я все романы читал. Ну и, конечно, от этого у меня развивались ненависть, разврат, любовь к мышлению и тому подобные пошлые наклонности. Раз, однако, задумался я о своей жизни. Ехал я тогда по Волге на пароходе, под Самарой дело было. Пароход «Святослав» общества «Самолет». Ем виноград. Виноград там дешевый, три копейки фунт, так что я мякоть высасываю, а кожицу и косточки, значит, выплевываю. Солнце садилось, испытал этакое приятное состояние души. Вот и задумался я о своей жизни. Что, думаю, такое? Человек я не завалящий, имею кой-какой умишко, кой-какие познания. Как же так? Нет, думаю, жизнь жить — не в бабки играть, пустяки надо оставить, о боге вспомнить, о собственной душе. Тут вот я и стал на стезю добродетели.

В газетах описали нашу больницу. Отзыв был очень хороший. Кичунов возмущен.

— Голодные псы! Буквой питаются!

— За что вы их ругаете? Ведь они же нас хвалят.

— Когда дурак хвалит, так это обиднее, чем когда умный ругает...

— Проповедь у нас в церкви читал отец Варсонофий. Господь, говорит, — «благ!» Ну, это мне въелось в плоть и

кровь, все равно как хронический ревматизм. Скучно. Знай свое болтают все: «Благ, благ!» Господь благ только к своим! Вовсе он не весь мир пришел спасти. В Евангелии от Иоанна, глава семнадцатая, он прямо говорит: «Отче, я о них молю,— не о всем мире молю,—но о тех, которых ты дал мне». А когда язычница к нему пришла, он сказал: «Нельзя отнимать у детей и бросать псам». Значит, неверующие для него псы. И правильно,— так и должно быть. Евангелие нужно понимать без изменения одной черты, одной йоты. Что я вам говорю, это — простой логический взгляд... «Благ»,— скажите пожалуйста! Бог должен быть строг! жесток! Христос ясно сказал: «Я пришел принести на землю не мир, но меч!» На соборах это место разбирали: говорят, что тут нужно понимать меч *духовный*. Хе-хе! Разбирали! Шишки еловой не разобрали! Ну, скажите пожалуйста, как *меч* может быть духовным? Холодное-то оружие!.. Христос понимал, что без меча с нашим братом дела никакого не сделаешь. И так мы его не боимся, а если бы он был благ, мы бы совсем избаловались. Мы его даже не боимся, как черт боится. Тот знает, что ему пощады нет, а мы все надеемся на «искупление», на отпущение грехов. Помер человек, ему поп перед смертью грехи отпустил,— он таким козырем на тот свет идет, ждет, что ему Христос скажет: «Пожалуйте, милостивый государь, вот сюда, в рай!» А как полетит там кувырком к черту на рога, тогда узнает! Хе-хе-хе!

Привезли в больницу мужчину с крупозным воспалением легких. Лицо синюшное, пульс плох. Приняли.

Привезшая его жена сказала Кичунову:

— Можно будет распорядиться, чтобы причастили его? Он уж пятнадцать лет не говел.

Кичунов грозно нахмурил брови:

— Как же это его без сознания причащать? Священник не станет.

— Пожалуйста, уж будьте добры! Нельзя ли?

— Гм! Пятнадцать лет не говел,— христиане называются! А смертный час пришел,— спохватились!.. Этого нельзя устроить!— отрезал он.

Женщина вздохнула и пошла к выходу. Я ее остановил, и, конечно, оказалось возможным устроить.

Больной возвратным тифом, ночежник, с опухшим лицом. Оборванный, дрожит. Лет семнадцати. Кичунов его записывает в книгу, кричит:

— Мещанин? Крестьянин?

— Я — незаконнорожденный.

— Та-ак! — иронически процедил Кичунов. — Вот этак гуляет девица, — боа у нее, турнюр, а детей в ночлежные кидает; такие кавалеры и выходят!.. В Петербурге родился?

— В Петербурге, — стиснув зубы, ответил больной.

— Ну конечно! Самый для таких дел подходящий город... Ступай.

— Незаконнорожденные, они не имеют прав ни на земле, ни на небе! Ну, как же незаконнорожденный может войти в царствие небесное, скажите пожалуйста! У бога прелюбодения нету. Во «Второзаконии», глава двадцать третья, ясно сказано: «Сын блудницы не может войти в общество господне, и десятое поколение его не может войти в общество господне». Для таких людей... Я бы не стал и жить на их месте... Вы себе как представляете антихриста? С рогами, с когтями? Он уже родился.

— Где же он?

— Он есть то, что рождено в прелюбодении. Он родится от девы, как и Христос, только прелюбодейно, как незаконнорожденный. Христос ведь не был незаконнорожденным, заметьте себе!.. Каждый незаконнорожденный есть предшественник антихриста. Апостол Иаков в послании, глава первая, говорит: «Похоть, зачавши, рождает грех». Пройдитесь по Невскому, посмотрите на фотографии балерин: стоит девка... груди распустила, ногу подняла. Мальчишка украдет у отца целковый и побежит, — знаете куда? Вот-от что похоть значит!

— Я бы, будь моя власть, — я бы женщинам запретил выходить на улицу.

— Почему?

— Как почему? Вид неприличный!

— Ну что вы такое говорите!

— Ну, а как же! (Очерчивает на себе руками выпуклости груди, бедер.) Что вы, господа! Ведь по улицам дети ходят! Конечно, привыкнуть ко всему можно, а только... Неудобно, знаете, неудобно!

Я хохотал.

— Как вы скажете, предки наши глупее нас были? Я полагаю, что они умнее были не только меня, но даже — извините за дерзкое выражение — умнее были, чем вы. А они женщин запирали — в терем! Почему? Возьму хоть себя. Человек я пожилой, солидный, занимаюсь богомыслием. А встретишь на улице этакую бабеночку полногрудую — и

ввергаешься в соблазн. Ничего не поделаешь: человек бо-
есмь! Ессе homo!..¹

Позвали меня к больной. Вхожу в приемную врача. Кичу-
нов стоит, осматривает больную. Это совершенно не его дело.
Его дело — в соседней комнате, когда больного примут, запи-
сать в книгу и составить на него скорбный лист. Стоит Кичу-
нов, а перед ним, рядом со старухой матерью, — изумительно
красивая девушка лет пятнадцати, голая по пояс. И Кичунов
глубокомысленно тыкает ее указательным пальцем в груди.
Увидел меня, сконфузился.

— Вот, Викентий Викентьевич... Какая сыпь странная!.. Я
заинтересовался.

Я мельком взглянул на сыпь и холодно ответил:

— Что же странного! Самая обыкновенная скарлатиноз-
ная сыпь.

— А я смотрю: что это, странная какая сыпь? Не признал
сразу, что скарлатинозная...

СТЕПАН СЕРГЕИЧ

(Пунктирный портрет)

Сутулый человек с большой головой. Серая кожа на лице
висит крупными морщинистыми складками. Но ему нет еще
сорока лет. Он был профессор и даже неглупый человек. Имел
ряд научных работ по истории Византии. Его монография о
византийском историке Никите Хониате была подробно рефе-
рирована в немецком историческом журнале. Но изумительно
было в нем полное молчание голосов тела, глубокое отмира-
ние инстинктов. В обычной городской жизни это не так заме-
чалось, но, когда приходилось видеть его среди природы, жут-
ко становилось за человека, и возникал вопрос: если не спох-
ватиться вовремя, не обратится ли и вообще человек буду-
щего в подобную уродину? Само тело ничего ему не говорило.
Все он должен был узнавать от других людей, от термометра,
барометра и прочих инструментов.

Проснется ночью и не знает — выспался или нет. Как
будто выспался, пора вставать. Посмотрел на часы, — всего
шесть часов утра. Заснул опять. А часы, оказывается, остано-
вились. Спал до одиннадцати часов.

¹ Это человек!.. (лат.)

Карманные часы остановились, стенные сломались. А дело было на даче. Трагедия: не знает, когда лечь спать, когда вставать, когда есть.

За обедом на третье подали сырники. Степан Сергеич ел. Дочка Таня сказала:

— Из манной крупы.

Степан Сергеич нахмурился и отодвинул тарелку. Пришла жена Елизавета Алексеевна, на минуту уходившая в кухню. Он сказал хмуро:

— Лиза! Ведь ты знаешь, что я терпеть не могу манной каши. Зачем же ты заказываешь сырники из нее?

Елизавета Алексеевна изумилась:

— Как из нее? Из творога сырники.

Степан Сергеич прикусил губу. Верно. Из творога. И с аппетитом стал есть.

— Что я — пил кофе или только хотел пить?

— Не пил.

Выпил два стакана с бутербродами. Жена и свояченица расхохотались. Своаяченица воскликнула:

— Ведь вы пили уже!

Степан Сергеич потемнел и враждебно взглянул на жену.

— Какие глупые шутки!

Весь день ходил хмурый, с тяжестью в желудке.

Двенадцать лет назад, во время свадебной поездки по Германии и Швейцарии. Выйдет из отеля купить папирос, — а через пять часов шуцман приводит его из загородного леса, куда забрел, сам не знает как: заблудился. Совершенно лишен способности к ориентировке.

До 15 мая ходит в зимней одежде, после пятнадцатого — в летней, и ее уж не снимает, как бы ни было холодно.

В жилетных карманах — часы, шагомер, на террасе дачи — термометр и гигрометр, в столовой — барометр. Вышел на террасу, смотрит на термометр.

— Стоит надевать пальто?

— Да разве ты так не чувствуешь?

— Четырнадцать с половиной — не стоит.

Посмотрел на барометр. Было 12 градусов. Тогда он почувствовал, что ему холодно.

— Степа, ты с нами пойдешь гулять?

— (Сердито.) Куда же идти, если барометр упал до семи-

сот сорока. Удивляюсь, что ты идешь, да еще детей берешь с собой.

Стояла ласковая, томящая теплынь. Получилась чудесная прогулка. Он, конечно, остался дома. Дождь пошел только утром.

Не замечает, что молоко прокисло, что мясо несвежее. Простудился, лихорадит, колет в боку.

Свояченица:

— Ведь сквозняк, что вы тут сидите!

Он с жалкой, беспомощной улыбкой:

— Я этого ничего не чувствую.

Начало июля. На даче. В столовую вошел Степан Сергеич с лицом темным, как чугун. Стоял нахмуренный, сердитый и тяжелым взглядом следил за женой. Она штопала чулки Танюшки и не видела его взгляда.

В открытое окно подул ветерок и принес запах цветущей липы. Елизавета Алексеевна сказала:

— А, уж липы зацвели!

Степан Сергеич раздраженно отозвался:

— Что липы зацвели, это, конечно, хорошо. А вот что у нас опять кошки по всем комнатам нагадили,— это черт знает что такое! Не продохнешь от вони!

Елизавета Алексеевна удивилась.

— Где тут кошками пахнет? Я ничего не чувствую.

— Ну конечно! А я, во всяком случае, чувствую совершенно ясно. И требую категорически,— Лиза, слышишь? Я требую, чтобы никаких своих Пушкинчиков и Снежков ребята в комнаты не таскали! В воскресенье Димка весь день возился в столовой с кошками... Скажи Матрене, пусть сейчас же придет с тряпкою и подотрет.

Степан Сергеич ходил с Матреною по комнатам и искал, где нагадила кошка. Матрена заглядывала под диваны, отодвигала шкафы и посмеивалась под нос.

— Господь с вами, барин, какие тут кошки! Дух — лучше и быть нельзя!

— Вы тут все так приняхались ко всякой вони, что даже уже не слышите ничего!.. Танюшка, Димка, пойдите сюда! Если еще раз в комнатах я увижу кошку, то всех ваших Пушкинчиков и Снежков велю забросить в реку!.. Слышите? Запомните это!

Елизавета Алексеевна, с упрямыми и грустными глазами, сидела в столовой у стола и не помогала искать. Это особенно сердило Степана Сергеича, и он неумоимо двигал сундуки,

комоды и шкафы. Однако ничего не нашли. Матрена, скрывая улыбку, ушла с тряпкою в кухню. Степан Сергеич позвал детей и еще раз строго подтвердил, чтобы не пускали кошек в комнаты.

После обеда Елизавета Алексеевна лежала в спальне; у нее болела голова. В дверь заглянул Степан Сергеич.

— Ты не спишь?

— Нет.

Он вошел, сел к ней на край постели. На лице была сконфуженная, детская улыбка, и от нее светилось все его серое лицо.

— Вот, Лизанька, грязная история!.. С кошками-то! Оказывается, это вовсе не кошки нагадили, а знаешь что?.. Я сейчас только сообразил: это... липы зацвели!

— Что?!— Елизавета Алексеевна, хоть была сердита, вскочила на постели и расхохоталась.— Ты шутишь?

Пристыженное лицо Степана Сергеича дрожало смеющимися морщинками.

— В том-то и дело, что нет! Понимаешь, какая штука. Был я еще мальчиком, жили мы на даче под Калугой. Мама меня посылала набирать липовый цвет, и потом мы его сушили на газетных листах на чердаке нашей дачи. А кошек там была гибель, постоянно так ими пахло, что не продохнешь. Вот оба эти запаха у меня и смешались, и я их уж не могу разъединить. После обеда сегодня вышел на террасу,— что такое? Опять кошками несет! Откуда? Из саду-то! Принюхиваюсь,— смотрю, молодая липка у террасы вся в цвету. И тут я вдруг сообразил. Вот, Лизанька, какая история уродливая!

— Д-да-а...

— Рассказать,— никто не поверит! Ты уж прости меня. Елизавета Алексеевна безнадежно смеялась.

ИВАН ИВАНОВИЧ

(Пунктирный портрет)

Железнодорожный подрядчик. Ловкий и умный, вполне интеллигентный. Хорошо наживался. Заболел прогрессивным параличом, сошел с ума. И тут так из него и поперла дикая, плутовская, мордобойная Русь.

Читают ему газеты. Московский педагогический съезд посетили два английских педагога.

— Погодите, я все это знаю, сейчас вам расскажу. Как приехали, их первым делом в полицию позвали и — выпороли. Чтоб не зазнавались. Потом на съезд привезли. «Садитесь, пожалуйста!»—«Нет, знаете... Мы постоим!»—«Да вы не стесняйтесь!» — «Нам вот к телефончику, — разрешите!» — «Пожалуйста!»—«Дайте генерал-губернатора!»—«Что?! Вы пороли?» Сейчас позвонил в участок: «Прибавить от меня еще сорок розг!»

На вокзале сидит, пьет пиво. Подходит, любезно улыбаясь, господин.

— Мы с вами, кажется, встречались?

— Как же! Вместе из Челябинска шли по этапу! Я вас сразу узнал. (Господин отшатнулся, тот ему вдогонку.) За кражу часов сидели, вместе крали. Хорошо помню: стенные часы были... с боем...

Читал он «Новое время», имена запоминал, а события перерабатывал самым фантастическим образом. В конце девяностых годов Россия заняла китайскую гавань Порт-Артур.

Иван Иванович рассказывал:

— Салисб-Юри того не знал и послал из Англии Камбона, чтобы занял. Приехал. Ему навстречу адмирал Скрыдлов. «Что вам угодно?»—«Видите ли, вот... Порт-Артур... Мы приехали...»—«Ах, вы приехали?..» Тр-рах! «Ой, больно».—«Больно? Затем и бьют, чтоб было больно...» Тр-рах!! «Ваш вон он, видите, на той стороне: Вей-хай-вей! А это наше!»—«Тогда извините, пожалуйста, мы не знали. Прощайте!»—«До свидания!» Поплыли. Скрыдлов поглядел. «Ну-ка, малый, заряди-ка пушечку...» Бах!! Корабли кувырк!.. Салисб-Юри в Лондоне ждет, беспокоится. Телеграмму в Порт-Артур: «Приехали? *Салисб-Юри*»—«Были тут... какие-то! *Скрыдлов*».—«Где ж они? *Салисб-Юри*».—«Потопли. *Скрыдлов*».

И хохочет торжествующе.

Его племянник окончил курс врачом в Московском университете. Сестра Ивана Ивановича с торжеством принесла ему показать диплом, полученный ее сыном. Иван Иванович посмотрел и вдруг объявил:

— Этот диплом подложный. Борис его сам написал.

— Ну что ты говоришь! Как же подложный? Видишь, подпись: «Декан медицинского факультета Д. Зернов».

— Я его знаю: это почтальон со Смоленского рынка.

— Видишь, и другие подписи: профессор Остроумов, профессор Шервинский...

— Довольно! Пойди на Большую Царицынскую, справься в казенном винном складе: это все — сторожа склада. Борьку за этот самый диплом в Хамовнической полицейской части выпороли.

— Как это выпороли? Прежде всего, не имеют права выпороть. Он дворянин, закон запрещает.

— Ничего закон не запрещает. Нет такого закона.

— Я тебе отыщу, покажу: есть специальная статья...

— Довольно! Вот по этой самой специальной статье и выпороли.

ДВА ПОБЕГА

Звали ее Димка. Она не раз уже сживала в тюрьме, была в ссылке. Из ссылки бежала за границу. В 1902 году нелегально приехала в Россию по делам «Искры» с поручением объехать юг и наладить связи.

В Кременчуге ее арестовали и отправили в Киев.

Приехали поздно вечером. Тотчас же, прямо с вокзала, ее повезли на допрос в жандармское управление. Начальником управления был генерал Новицкий, очень в свое время известный охранник. Он сам стал допрашивать Димку. Паспорт у нее был подложный, на имя восемнадцатилетней немки, а Димке было уже тридцать два года. Отпираться было нелепо, она прямо заявила, что паспорт подложный, что настоящая ее фамилия такая-то.

Новицкий очень обрадовался, думал, — она и дальше станет на все отвечать. Но Димка заявила:

— А больше ни на какие вопросы отвечать не буду.

И замолчала, как утонула. Новицкий подходил и так и сяк, но ничего не смог добиться и велел отвезти ее в тюрьму.

Тюрьма называлась Лукьяновская, стояла за городом. Порядки, к изумлению Димки, оказались в ней самые свободные, — нигде она еще не видела такой тюрьмы. Двери камер не запирались, политические заключенные ходили друг к другу в гости, прогулки были общие.

Из разговоров товарищей по заключению Димка узнала, что группа заключенных подготавливает для себя побег из тюрьмы. Димка заявила, что хочет к ним присоединиться. Но те ей отказали: корпус, в котором сидела Димка, был на дру-

гом конце тюрьмы, и участие Димки сильно бы затруднило побег.

Бежали без нее. Побег удался блестяще. Перед этим заключенные усиленно занимались на прогулках будто бы гимнастикой: упражнялись в лазании, взбирались друг другу на плечи, устраивали живые пирамиды. С воли удалось получить якорь с длинной веревкой и веревочную лестницу. Подпили одного часового, связали другого, среди бела дня переправились через высоченнейшую стену и убежали. Было их тринадцать — четырнадцать человек.

Легко себе представить, какие после этого пошли в тюрьме строгости. Все вольности были отменены, надзор стал самый жестокий и придирчивый. И все-таки Димка решила бежать, хоть одна. Инициатива у нее была огромная, энергией она вечно так и кипела. Самое для нее трудное и самое невыполнимое было сидеть сложа руки. Это ее свойство было известно всем товарищам. Лет пять назад, когда она сидела в петербургской предварилке, она просто изводила всех нас непрерывными проектами и поручениями, совершенно нелепыми и неисполнимыми, но в них она изливала закупоренную заключением неистощимую свою предприимчивость. Так было и теперь. Вырваться на волю во что бы то ни стало! Желание овладело ею неудержимое, болезненно-страстное. Как сокол или ласточка, она просто органически не выносила неволи. Каждую ночь ей снился все один и тот же сон: солнце, шумящие улицы, быстро снующие кругом люди, она свободно идет, куда хочет. Проснется — и со страхом медленно приоткрывает глаза: сон это был или нет? Перед глазами — грязный сводчатый потолок, решетка на пыльном окне...

Один за другим она измышляла самые хитроумные планы бегства и с большими трудностями передавала их на волю товарищам. Предложила, например, так. С нижней площадки лестницы в жандармском управлении одна лестница ведет на двор, — так выводили заключенных, а другая — к парадному ходу, на улицу. Пусть на улице ее поджидает товарищ, переодетый извозчиком. Она с нижней площадки быстро выбежит на улицу, вскочит на извозчика, и он ее умчит. Товарищи на воле отвергли проект.

Димка тотчас же предложила другой проект, третий. При данных обстоятельствах само намерение ее по существу было чистейшим безумием: какой был возможен побег при начавшейся слежке и самых придирчивых строгостях? Во главе киевской организации в то время стоял Степан Иванович, хорошо знавший Димку еще по Петербургу. Он велел ей ска-

зять: «Умела гулять на воле, умей и в тюрьме посидеть». И решительно попросил не пересылать больше никаких проектов.

Тогда Димка решила бежать сама, собственными силами, без посторонней помощи.

И начала систематически готовиться. Прежде всего нужно было сделать разведку местности — бежать она собиралась из жандармского управления. До тех пор на допросах она молчала. Теперь вдруг заявила, что хочет дать показания. Ее повезли в карете в жандармское управление. Оно находилось на дворе Старокиевского полицейского участка. Дала кой-какие незначительные показания, а для себя выяснила обстановку и окончательно наметила план действий.

Самое важное и существенное в ее плане было научиться моментально менять свой внешний вид. Нескольких товаров по заключению она посвятила в свой план. Достали с воли нужные материалы. Больше месяца Димка усердно упражнялась в своей камере все время, когда не видела надзирательница. Наконец достигла значительной ловкости. Решила приступить к выполнению плана.

В этих целях было важно, чтобы тюремная карета, когда привезет ее в жандармское управление, не осталась стоять на дворе полицейского участка. Это могло быть в том случае, если к допросу назначалось несколько человек: в карете возили обязательно по одному только человеку; значит, если нужно было доставить нескольких, карета доставляла одного и сейчас же уезжала за другим. Если же всего был один, карета оставалась ждать его на дворе.

Вот раз Димку вдруг вызывают к допросу. Это было в понедельник, тринадцатого числа, — какого месяца, она точно не помнит. Димка спросила надзирателя:

— Одна я назначена на допрос или еще и другие?

— Вы одни.

Она решительно заявила:

— Не поеду. У меня голова болит. Да и башмаков нету, отдала в починку, не в чем ехать.

Надзиратель пошел доложить начальству об ее отказе.

Одна из товарищей по заключению, знавшая о намерениях Димки, опасливо сказала:

— И правда, лучше не ездите сегодня: понедельник, тринадцатое число... Отложите на другой раз.

Димка так и взвилась.

— Почему непременно для меня это будет неблагоприятно? А может быть, как раз для них? И будут говорить: вот, недаром тогда был понедельник и тринадцатое число... Еду!

И стала готовиться. Надела темно-синюю юбку. К волосам приколола изящную фетровую шляпку.

Надзиратель воротился и передал Димке решительный приказ начальства ехать, не то... Димка насмешливо ответила:

— Хорошо, поеду. У меня голова прошла.

Ее охватило лихо-задорное настроение, ничего впереди не пугало, пусть хоть весь мир пойдет на нее, пусть никто ей не помогает! А в душе в то же время было ледяное спокойствие.

Когда садилась в карету, сказала надзирателю:

— Прощайте! Больше к вам не ворочусь.

Он с сомнением покачал головой.

— Навряд ли отпустят.

— Отпустят, не отпустят, а к вам не вернусь, вот увидите!

На допросе она глумилась и издевалась над жандармами. Генерал Новицкий пил воду стаканами, несколько раз в бешенстве выбегал из комнаты. Наконец приказал:

— Уберите ее!

Два жандарма вывели Димку. Она быстро стала спускаться по лестнице. Жандармы еле за нею поспевали. Направо от лестничной площадки была комната, где держали привезенных из тюрьмы до и после допроса. Димка мимо дверей побежала вниз. Жандарм ей крикнул:

— Эй, барышня! Направо, в комнату!

Она властно ответила:

— Незачем! Вон она, карета, стоит. Можно прямо ехать.

На дворе у подъезда ждала тюремная карета. О радость! Возле никого не было — ни кучера, ни третьего жандарма: мела метель, морозный ветер гонял по двору колючий снег, — видимо, ушли куда-нибудь греться.

Один из жандармов пошел их искать, другой остался стеречь Димку.

Она сказала, что ей нужно в уборную, и пошла к деревянной будочке женской уборной в глубине двора. Жандарм пошел за нею следом и остановился у двери. Она вошла в уборную.

И как только дверь за Димкой захлопнулась, она сейчас же опять раскрылась, и из уборной выбежала кокетливая девушка в голубом платочке, в серой юбке. Семена ногами, она неспешной походкой направилась к воротам. Жандарм потом рассказывал: «Я думал, это горничная полицмейстера».

Стоял он, стоял, ждал, ждал. Димка все не выходит. Он

забеспокоился, приоткрыл дверь, заглянул — никого. Вошел в уборную. На полу синяя юбка, фетровая дамская шляпка.

И никого нет. Остолбенел, потом бросился к дыре, туда заглянул. Нет нигде. Поднял с полу юбку и шляпку, вышел наружу. Растерянно ходит по двору, на руках юбка с шляпкой, и твердит:

— Куда же это наша барышня подевалась?

Когда Новицкому доложили о побеге, он в ярости выбежал на двор в одном мундире, велел всех жандармов, всю полицию сию же минуту двинуть на розыски Димки.

Димка выбежала в новом своем виде из уборной, семенящей походкой направилась к воротам. Там была еще одна очень большая опасность. У ворот — Димка знала — стоит часовой, и выйти можно только с пропуском. Но очевидное дело: понедельник и тринадцатое число были сегодня для *них*. Часовой от метели и ветра спрятался в будку и не заметил Димки.

Димка взяла извозчика и поехала на Крещатик. В душе было холодное, дерзкое, владеющее собою спокойствие. Ветер мел по мерзлым улицам сухой снег. Женщины шли, кутаясь в платки, торчали только носы. Вот хорошо! Нужно сейчас же купить такой платок. Закутаться, и тогда иди спокойно. И вдруг ее охватило глубокое волнение. На Крещатике отпустила извозчика, вбежала в магазин.

— Дайте мне платок.

Приказчик взглянул с изумлением.

— Какой платок?

— Байковый, побольше размером.

Оглянулась, — кругом окорока, колбасы, консервы.

Вышла, села в первую попавшуюся конку. По улице скакали городовые и жандармы, внимательно вглядывались в проходящих.

Конка привезла ее на Подол. Димка зашла в еврейскую лавочку, купила байковый платок. Закуталась, вышла. Кругом люди разговаривают, смеются, бранятся, торгуются. Каждый идет, куда хочет. И она может идти, куда хочет. И вдруг все вокруг стало какое-то странное, не всегдашнее. А вслед за этим душу ошеломила неожиданная мысль: может быть, как все это время, опять — сон? Откроет глаза, и будет опять перед нею запыленное окно с решеткой, каменный сводчатый потолок? Ужас шевелился в душе и ликующий смех.

Однако куда же теперь? У нее был только один-единственный адрес — Афанасьевых. Милая семья из матери и двух дочерей. Одна дочь сидела в тюрьме, а мать и другая дочь

делали передачи в тюрьму, переправляли с воли и на волю письма. Кого выпускали из тюрьмы, если ему некуда было деться, направлялся к ним. Место было очень опасное: конечно, полиция прежде всего должна была броситься к Афанасьевым. Но выбора не было.

Пошла. Понедельник и тринадцатое число продолжали работать на Димку: полиция к Афанасьевым не заглянула. Димка попросила поскорее поехать, сообщить товарищам об ее побеге. Сказала, что будет ждать в Софийском соборе.

Пришла в собор. Софийский собор открыт для посетителей целый день. Димка ходила, смотрела, садилась отдохнуть, опять ходила. Никто не являлся. Она с утра не ела. От голода и пережитого волнения начала кружиться голова. Упадет в обморок, обратит на себя внимание... Всю силу воли направила на то, чтоб не упасть.

Стемнело. Началась всенощная. Димка стояла перед образом, крестилась. Видит, молодая худощавая женщина ходит от образа к образу, поставит свечку, перекрестится, идет дальше. Лицо как будто знакомое. Подошла к образу, где стояла Димка. Тонкое чернобровое лицо, румянец на смуглых щеках,— Вера Саломон. Переглянулись. Вера поставила перед образом свечку, стала рядом с Димкой, начала усердно креститься и отвешивать поклоны. И шепнула:

— Когда пойду, идите за мной следом.

Вышли из собора. Их ждал извозчик. Поехали на квартиру к профессору Тихвинскому. Туда уже раньше пришел Степан Иванович. Он жарко расцеловал Димку и изумленно сказал:

— Ну и чертова же кукла!

В тюрьме бегство Димки вызвало всеобщий восторг. Не меньше заключенных торжествовало и тюремное начальство: ему сильно нагорело за недавний побег политических из тюрьмы. А теперь сами там упустили политическую, да еще как позорно!

Димку недели через две-три переправили за границу. Упустивший ее жандарм был отдан под суд и присужден к нескольким годам дисциплинарного батальона. Там его пропагандировали, и он сделался революционером. Через выпущенного товарища он переслал Димке письмо и благодарил, что через нее стал человеком. Для Димки это была большая радость: ее очень мучило, что солдат пострадал из-за нее.

И еще был у нее один побег, тоже в Киеве. Это случилось уже в 1904 или 1905 году.

Шла конференция районных организаций — конечно, подпольная. Собирались у одного сочувствующего. Он имел отдельную квартиру. Большая комната в нижнем этаже, натискалось человек пятьдесят. Доклады, споры, табачный дым. Интеллигенты, рабочие.

Вдруг двери настежь, жандармский офицер, за ним городовые; под окнами тоже полиция. Потребовали паспорта, стали всех переписывать. Записанные должны были переходить в соседнюю комнату той же квартиры. Народу было много, запись тянулась медленно.

Записали Димку (паспорт ее опять был подложный). Вошла она в соседнюю комнату. Была поздняя ночь. На середину комнаты вышел один из товарищей, потягивается:

— А-а-ах-ха! Пока что,— великолепно выспался!

Димка изумилась:

— Зачем же вы встали?

В темном углу комнаты стояли рядом две кровати. На одной спал закутанный в одеяло мальчик лет семи, на другой дремала одна из арестованных. Полежала, встала, отошла. Димка поспешно легла на постель, укрылась одеялом, лицом кверху. Решила не двигаться и не отзываться на зов жандарма. Даже и риска-то не было никакого: «Заснула, не слышала».

Вошел в комнату полицейский пристав, громко скомандовал:

— Собирайся!

Одна из арестованных увидела Димку на кровати, подошла, стала будить:

— Вставайте, нужно идти!

Димка свирепо заморгала ей глазами. Отошла. Но подошла другая,— ведь вот дуры! Опять:

— Вставайте, все уж в сборе!

Димка прошипела:

— Ступайте к черту!

Комната опустела. Вошел жандарм, осмотрел все углы. Димка лежала, закутавшись в одеяло, лицом кверху, с закрытыми глазами, и тихонько похрапывала. Жандарм заглянул под ее кровать, для верности пошарил даже шашкой и ушел. Арестованных увели. Утихло. Но все ли ушли жандармы и полицейские? Вошел в комнату хозяин. Его почему-то арестовали только на следующий день. Увидел Димку, удивился. Она вопросительно указала на дверь. Он подошел, шепнул:

— Остался один. Сидит, приводит в порядок бумаги. Очень долго сидел. Димка начинала волноваться: в тюрьме должно выясниться ее отсутствие, хватятся, станут искать, воротятся. Уже хотела лезть в окно. Но вошел хозяин, объявил:

— Убрался!

И черным ходом вывел ее через задний двор на волю.

Потом Димка узнала: когда все вышли из квартиры, им сделали на дворе переключку. За Димку откликнулась другая. За воротами тюрьмы вторую сделали переключку. За Димку опять откликнулась товарищ. Выяснилось ее отсутствие только тогда, когда арестованных стали разводить по камерам.

Их всех освободила только революция осенью 1905 года. А Димка в это время сама делала революцию в Севастополе.

ВРАГИ

Дмитрий Сучков был парень горячий и наивный, но очень талантливый. Из деревни. Работал токарем по металлу на заводе. Много читал. Попал в нелегальный социал-демократический кружок, но пробыл там всего месяц: призвали в солдаты.

Время было жаркое. Отгремело декабрьское восстание в Москве. По просторам страны пылали помещичьи усадьбы. Разливались демонстрации. Лютовали погромы и карательные экспедиции. С Дальнего Востока после войны возвращались озлобленные полки. Начинались выборы в Первую Государственную думу.

Дмитрий Сучков попросился в Ромодановский полк, где служил его старший брат Афанасий. Полк только еще должен был прийти с Дальнего Востока. Триста новобранцев под командою двух офицеров, посланных вперед, ждали полка в уездном городке под Москвой.

Три дня всего пробыл Сучков в части, и случилось вот что. Солдаты обедали. В супе оказалась обглоданная селедка — хребет с головой и хвостом. Сучков взял селедку за хвост, пошел на кухню, показал кашевару:

— Это что у вас, для навару кладется?

Кашевар с изумлением оглядел его.

— Ты... этого... агитатор?..

Назавтра вышел дежурный капитан Тиунов, прямо напра-

вился к Сучкову. Капитан — сухощавый, с бледным, строгим лицом и тонкими бровями.

— Ты тут собираешься агитацией заниматься... — И спросил взводного: — Ему устав внутренней службы читан?

— Никак нет, еще не читан.

Капитан крикнул на Сучкова:

— Стой, как следует!

— Я не знаю стоять, как следует, я стою, как умею.

— Как его фамилия?

— Что вы взводного спрашиваете, я и сам скажу, врать не стану. Сучков фамилия.

— Это ты вчера на суп жаловался?

— Да.

Капитан топнул ногой и грозно крикнул:

— Как ты смеешь так отвечать начальству?! Спроси у взводного, как нужно отвечать.

— Господин Гаврилов, как ему нужно отвечать?

Капитан совсем вскипел:

— Не «господин Гаврилов», а «господин взводный» или по имени-отчеству, и не «ему», а «его высокоблагородию»!

— Господин взводный, как этому высокоблагородию нужно отвечать?

— «Так точно» нужно говорить, «никак нет», «слушаю-с».

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Капитан внимательно поглядел ему в лицо и отошел.

Вечером он пришел с фельдфебелем в казарму и сделал в вещах Сучкова обыск. Однако Сучков ожидал этого и все подозрительное припрятал.

— Это что? Граф Салиас, «Пугачевцы». Ого! Какими ты книгами интересуешься!

— Вполне легальная книга!

— «Легальная»... Вот ты какие слова знаешь! Умеешь легальные книги отличать от нелегальных... А это что?

— Дневник мой.

Капитан Тиунов передал тетрадки фельдфебелю.

— Вы что же, читать его будете?

— Обязательно.

— А как это вам, господин капитан, не претит? Среди порядочных людей читать чужие письма не принято, а ведь дневник — те же письма.

Сучков за грубость был посажен на три дня под арест.

Вскоре он заболел тяжелым приступом малярии и был отправлен в московский военный госпиталь. Там повел пропаганду среди больных солдат. По его почину они пропели «веч-

ную память» казненному лейтенанту Шмидту. По приказу главного врача Сучков был выписан обратно в полк с отметкой о крайней его политической неблагонадежности.

Полк уж воротился с Дальнего Востока. Он стоял в губернском городе недалеко от Москвы. В полку было яро черносотенное настроение. Начальство втолковывало солдатам, что в задержке демобилизации виноваты «забастовщики», что, по указке «жидов», они всячески препятствовали отправке войск с Дальнего Востока в Россию. Дмитрий Сучков пошел проведать брата Афанасия. Афанасий был ротным каптенармусом, имел в казарме вместе с фельдфебелем отдельную комнатку.

Встретились братья, расцеловались. Конечно, чаек, водочка. Тут же фельдфебель — большой, плотный мужчина с угрюмым и красным лицом.

Дмитрий спросил:

— Ну, что у вас там было на войне, рассказывай.

— Что рассказывать! Ты газеты небось читал... Расскажи лучше, что у вас тут.

Дмитрий стал рассказывать про 9 января, как рабочие Петербурга с иконами и хоругвями пошли к царю заявить о своих нуждах, а он встретил их ружейными залпами и весь город залил русскою кровью; рассказывал о карательных экспедициях в деревнях, как расстреливают и запарывают насмерть крестьян, о баррикадных боях на Красной Пресне в Москве. Рассказывал ярко, со страстью.

Когда он на минутку вышел из комнаты, брат его Афанасий покрутил головою и сказал:

— Мне это очень не нравится, что он говорит.

Фельдфебель же неожиданно сказал:

— А мне очень нравится!

Этого фельдфебеля солдаты в роте сильно боялись. Был он строг и беспощаден, следил за солдатами, не одного упек, служил царю не за страх, а за совесть. Но последние месяцы стал что-то задумываться, сделался молчалив, много читал Библию и Евангелие, по ночам вздыхал и молился.

Воротился в комнату Дмитрий Сучков. Взялись опять за чаек да за водочку. Фельдфебель спросил:

— Ну-ка, а как ты домекаешься — в чем тут самый корень зла, откуда вся беда?

— В царе, ясное дело! Безусловный факт!

В дверях толпились солдаты, дивились, что рядовой солдат так смело говорит с их грозным фельдфебелем, да еще какие слова!

Фельдфебель сказал:

— А ты этого, парень, не знаешь, что против царя грех идти, что это бог запрещает?

— Что-о? За царя грех идти! Вот что в Библии говорится!

— Ну что... Ну что глупости говоришь! Я Библию хорошо знаю.

— Есть она у тебя?

— Вот она.

— Ну гляди. Первая книга царств, глава двенадцатая, стих девятнадцатый. Я это место вот как знаю, взажмурки найду. Читай: «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих перед господом богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда простили себе царя».

Фельдфебель молчал и внимательно перечитывал указанное место. Долго думал, наконец сказал:

— Теперь все понятно!

Облегченно вздохнул, перекрестился и закрыл книгу.

Долго еще беседовал фельдфебель с Дмитрием Сучковым. И стал с ним видеться каждый день. И ему не было стыдно учиться у мальчишки-рядового. Он говорил ему:

— Все у меня внутри было как будто запечатано, а ты пришел и распечатал,— вот как бутылку пива откупоривают.

Сам воздух в то время дышал возмущением и ненавистью. Агитация падала в солдатские массы, как искры в кучи сухой соломы. Агитацию вели Дмитрий Сучков, фельдфебель и еще один солдат, рабочий-еврей из Одессы. Дмитрий Сучков рос в деле с каждым днем. Солдаты смотрели на него как на вожака. И все большим уважением проникались и к фельдфебелю, которого раньше ненавидели.

Весною случилось вот что. В железнодорожных мастерских арестовали четырех рабочих. Мастерские заволновались, бросили работу, потребовали освобождения арестованных. К мастерским двинули три роты Ромодановского полка. Перед тем как им выступить, перед солдатами в отсутствие офицеров пламенную речь сказал Сучков, научил, как держаться, а фельдфебель Скуратов добавил:

— Если кто из вас по офицерской команде стрельнет, я его на месте уложу пулей. Когда дойдет до дела, не слушать офицеров, слушай моей команды.

Пошли. По дороге солдаты завернули на двор воинского присутствия. Выступил один из ротных командиров, тот капитан Тиунов, о котором уже говорилось. Бледное, строгое лицо с тонкими бровями. В упор глядя на солдат, спросил:

— Скажите мне, братцы, вы знаете, что такое присяга?

— Так точно.

— Может быть, не совсем хорошо знаете. Так я вам объясню. Не ваше дело рассуждать. Вы давали присягу царю и отечеству. Ты не отвечаешь за то, что твоя винтовка сделает,— за это отвечает начальство...

Увидел среди солдат Сучкова. Сучков часто замечал на себе и раньше пристальный подозрительный взгляд капитана.

— Пойди-ка сюда! А ты знаешь, что такое присяга?

— Так точно! Только всякий ее по-своему понимает.

Капитан понял, что он соглашается с ним, и обрадовался. И повел солдат к железнодорожному вокзалу.

Перед мастерскими чернела и волновалась тысячная толпа рабочих. Солдат выстроили спиной к вокзалу. Комендант кричал на рабочих, в ответ слышались крики:

— Выпустить арестованных!.. Все мастерские разнесем, поезда остановим!

Комендант крикнул:

— Теперь я с вами иначе заговорю!

И шатающимся шагом пошел к ротам. Стал сзади солдат и стал командовать:

— По толпе... залпом... роты...

И вдруг оборвал команду. Ряды стояли неподвижно, ни один солдат не взял ружья на изготовку. Комендант растерянно обратился к Тиуну:

— Капитан, почему ваши солдаты не берут на изготовку?

Тиунов, страшно бледный, молчал. Комендант вышел перед ряды и стал спрашивать отдельных солдат:

— Отчего не берешь на изготóвку?

Солдаты стояли, неподвижно вытянувшись, и молчали как окаменевшие. Скуратов, волнуясь, шепнул Сучкову:

— Ну, как кто поддастся!

Но никто не поддался. Комендант крикнул Тиуну:

— Тогда распоряжайтесь сами!

И исчез.

Рабочие замерли на месте, услышав команду коменданта.

Теперь они в бешеном восторге кинулись к солдатам.

— Ура, ромодановцы!

Окружили солдат, целовали, обнимали, совали в руки баранки, колбасу. Солдаты по-прежнему стояли неподвижно, соблюдая строй,— совсем истуканы!

От вокзала показался комендант, с ним человек пятнадцать жандармов с винтовками. Рабочие к солдатам:

— Братцы, дайте нам винтовки, мы их встретим!

Фельдфебель Скуратов скосил глаза на сторону и быстро ответил:

— Небось! Пусть хоть раз стрельнут,— мы им сами покажем!

— Ура!— закричали рабочие.

Комендант опять стал уговаривать рабочих, но теперь он говорил очень мягко. Рабочие толпились вокруг и постепенно оттирали жандармов. Жандармы очутились поодиночке в густой рабочей толпе. Ничего не добившись, комендант исчез.

Солдат повели к мастерским, выстроили перед воротами с приказом никого не выпускать. И опять молча и неподвижно, как окаменевшие, солдаты стояли, держа строй, а мимо них выбегали рабочие. Соединились в колонну и с пением «Марсельезы» двинулись к городу, раньше прокричав ромодановцам «ура».

Командир полка, узнав о случившемся, пришел в бешенство, рвал на себе волосы.

— Батальон был самый боевой, а теперь как опоганился!

Командовавший отрядом капитан Тиунов все не являлся к полковому командиру с рапортом, так что пришлось послать за ним вестового. Вестовой побежал и, воротившись, смущенно доложил:

— Капитан Тиунов — застрелимшись.

Он выстрелил себе в грудь, пуля прошла навылет, но не задела ни сердца, ни крупных сосудов. Его снесли в лазарет.

Роты, участвовавшие в описанном деле, ходили как победители. Время было такое, что начальство боялось их покарать. Вскоре полк ушел в лагерь. Ходили на стрельбу за пять верст от лагеря. После проверки солдаты уходили в лес, в условленное место, на митинг. По дороге — свои патрули; спрашивали пароль. Выступали присланные ораторы. Говорили о Государственной думе, о способах борьбы, о необходимости организации, о светлом будущем. Это был для солдат какой-то светлый праздник. Все ходили, как будто вновь родились. Постановили больше не ругаться матерными словами. Красное, угрюмое лицо фельдфебеля Скуратова теперь непрерывно светилось, как раньше у него бывало только в светлое воскресенье. Установились у него близкие, товарищеские отношения с солдатами. Однажды стирал он в прачечной свое белье. Увидел дежурный офицер.

— Вот молодец! Фельдфебель, а сам стирает! Каждый рядовой норовит теперь это на другого свалить, а он — сам. Молодец! Вот это хороший пример.

Фельдфебель молча продолжал стирать.

— Слышишь, я говорю тебе: «Молодец!»

Скуратов молчал. Офицер грозно крикнул:

— Ты что, скотина, не слышишь? Я тебе говорю: «Молодец!»

Нужно было ответить: «Рад стараться!» Но Скуратову противно было это сказать. И он неохотно ответил:

— Не молодец, а нужда. Нет денег прачку нанять.

В начале августа, когда полк стоял еще в лагерях, случилось вот что. В праздник преображения, 6 августа, два солдата гуляли за полковой канцелярией. И вдруг нашли в овраге большую кучу распечатанных писем и отрезов денежных переводов, адресованных солдатам. Стали читать письма. В них солдатам писали из деревни, чтоб не стреляли в мужиков, чтоб стояли за Государственную думу. А по сверке денежных переводов оказалось, что адресаты денег этих не получили.

Заволновался полк. Сходились кучками, передавали друг другу о находке, ругались и грозно сжимали кулаки. К вечеру весь лагерь шумел, как развороченный улей. Офицеры попрятались. Солдаты искали Сучкова, чтоб он им «сказал». Но Сучков в тот день поехал в город за мясом — его солдаты выбрали батальонным артельщиком. Кинулись к фельдфебелю Скуратову. Но он был только хорошим «младшим командиром», исполнителем, а теперь лишь недоуменно пожимал плечами. Да и правда, нелегко было направить общее негодование в нужное русло. Стали слушать каждого, кто громко кричал. Решили идти к помещению первого батальона, где находился денежный ящик и полковое знамя, деньги поделить меж собой и со знаменем, с музыкой двинуться в город. Пошли вдоль палаток, выгоняя спрятавшихся солдат. Открыли карцер, выпустили восьмерых арестованных — «пускай нынче всем будет радость». Пришли. Вдруг перед ними появился командир полка. Упал перед солдатами на колени:

— Братцы! Товарищи! Господа! Что хотите, со мной делайте, а знамени и денежного ящика не трогайте!

— Э, слушай его! Валяй, ребята! Часовой, отойди!

Но тут фельдфебель Скуратов начальственнно крикнул:

— Смирно, товарищи! Полковой командир дело говорит. Не трогать знамени и денежного ящика. Дайте полковому командиру сказать, что хочет.

Полковой командир приободрился и сказал:

— Ребята! Вы заявите свои требования, я их все добросовестно разберу, а дело сегодняшнее мы замнем.

Солдаты наперебой стали говорить о найденных в овраге письмах и денежных переводах, о незаконных работах для офицерского состава, которые заставляют делать солдат.

— Ребята, вы все сразу говорите и очень далеко стоите. Подойдите ближе!

— А, сукин сын, заметить хочет тех, кто говорит! К черту его!

Раздались пьяные голоса:

— Идем офицерское собрание разнесем!

В это время — были уже сумерки — воротился из города Сучков. Солдаты кинулись к нему. Он развел руками и покачал головой.

— Ай-ай-ай! Что же делать теперь?

Сказали ему, что часть солдат пошла громить офицерское собрание. Он побежал к ним, остановил. Повел всех в рощу за лагерем «вырабатывать требования». Поздно ночью солдаты мирно разошлись по палаткам. Сучков задумчиво шел со Скуратовым домой.

— Да... Как теперь эту кашу расхлебывать!

Около палаток к Сучкову в темноте подошел вестовой.

— Сучков, иди скорей, тебя к себе капитан Тиунов зовет. Велит, чтоб сейчас же пришел.

— Что я ему? Почему я должен к нему являться?

Однако пошел.

Капитан Тиунов, на днях только вышедший из госпиталя, исхудавший, сидел на табуретке перед баракom и курил.

— Это ты, Сучков? Здравствуй!

— Здравия желаю!

— Пойдем в барак.

Вошли.

— Садись.

— Я, ваше высокоблагородие, постою.

— Садись, говорят тебе.

Сучков сел. С минуту молчали. Наконец Тиунов заговорил:

— Вот. Еще раз встретились с тобой. Теперь, может, уж в последний раз. — Помолчал. Потом нагнулся к Сучкову и шепотом спросил: — Что ты такое сделал, сукин сын?

— Что я такое сделал?

— Что сегодня было, это твоих рук дело.

— Меня тут даже не было, я в город ездил.

— Все равно, это все ты... Ты жид?

— Никак нет.

— Может, поляк?

— Никак нет.

— Ну, может, в роду у тебя поляки были?

— Этого знать не могу, — с усмешкой ответил Сучков. — Тогда не жил.

— Та-ак, та-ак...— задыхаясь, произнес Тиунов. Вдруг взял со стола замок, подошел, привесил к двери и запер на ключ.

Сучков подумал:

«Бить, что ли, будет? Ну, это еще посмотрим, кто кого! Как бы ему самому не было большого полому!»

Тиунов из-под шитой подушки на диване достал револьвер и нацелился на Сучкова.

— Сознавайся!

Указательный его палец лежал на спуске, в дырах барабана видны были пули. Заряженный. У Сучкова же шинель была внакидку, застегнута у шеи на два крючка, руки спутаны; пока станешь отстегивать крючки,— застрелит.

— Да в чем сознаваться?

— Ты им брошюры давал, прокламации писал... Сознавайся! Убью тебя, как пса. Что ты им давал?

— Что давал! Газету сейчас дать — почище будет всякой прокламации! Правда теперь пошла в газетах, тоже вот в них отчеты Государственной думы печатаются...

Тиунов схватился за голову.

— Эх, вот эта Дума еще!.. Нет, ты им все-таки еще прокламации давал... Ну, слушай! Ведь вот твоя смерть здесь, в дуле... Сознавайся!

— Да ну, стреляйте! Что там разговаривать! Жизнь мне не дорога, а смерть не опасна!

Тиунов вдруг положил револьвер, снял с двери замок и опять сел рядом с Сучковым.

— Ну, смотри, видишь? Я револьвер положил, дверь отпер. Но все-таки знай: если ты меня не убьешь — я тебя убью!

Замолчали.

— Давал ли им прокламации, нет ли,— а все это дело — твое. Ну-с, что же, доволен? Денежки из казенного ящика поделить, офицерский буфет разграбить... Чего же вы этим достигнете? Ты хочешь анархии.

— Я не хочу анархии.

Капитан удивился.

— Не хочешь?

— Не хочу. У вас анархией называется свобода, вы сами рабы и хотите, чтоб все рабами были. Нам друг друга не понять. У вас одна душа, у нас другая.

— Свобода... Свобода? Ты хочешь свободы, а вызовешь анархию, проклятый ты человек! Ты ее вызовешь, в ней и я погибну, и сам ты, и Россия!.. Радуюсь ты на то, что сегодня было?

— Нет, не радуюсь.

— Ну и никакой тебе никогда радости не будет. Может, когда-нибудь, как увидишь, что вы с Россией сделали, сам ужаснешься!

— Как говорится, — бог не выдаст, свинья не съест. Тиунов встал.

— Ну, теперь прощай! — Он протянул Сучкову руку и с ненавистью пожал ее. — Прощай. А мы — мы будем драться с вами до последнего!

Сучков с вызовом поглядел на него.

— Не испугаемся: кто кого!

Тиунов скрипнул зубами и бросился к столу за револьвером.

Остановился, повернулся.

— Уходи скорей, говорю тебе!

— Здравия желаю!

Сучков отковырнул и вышел из барака.

ЧОХОВ

Наш пароход подходил к острову Цейлону. Цейлон! Местоположение земного рая люди полагали на Цейлоне. Повидать его было давнишнею моею мечтою. Для Цейлона и еще для Японии я главным образом и поступил судовым врачом на пароход Добровольного флота, делавший рейсы между Одессой и Владивостоком.

Уже со вчерашнего ужина все в кают-компани только и говорили — не о Цейлоне (остальному нашему экипажу он был давно известен), а о каком-то Чохове: «Чохов встретит», «Чохов примет», «надо приготовить для Чохова»... Что за Чохов?

За утранным кофе старший механик Бакшеев, полный блондин со смеющимися про себя глазами, мне рассказал.

В известную московскую чайную фирму братьев К. и С. Поповых поступил мальчиком в услужение сын ночного сторожа Чохов. Он обратил на себя внимание умом и энергией, быстро выдвинулся. Братьям Поповым первым пришла в голову мысль начать торговать цейлонским чаем. Он был крепче и должен был обходиться много дешевле китайского. Знатоки, конечно, не променяли бы китайского чая ни на какой другой, но в широкой публике цейлонский чай должен был пойти, что и оказалось. Поповы послали на Цейлон своего агента, а с ним — шестнадцатилетнего Чохова. В тече-

ние года Чохов прекрасно освоился с делом, великолепно выучился английскому языку, китайскому и сингалезскому. Фирма отозвала агента и все дело поручило Чохову. Через несколько лет его переманила к себе чайная фирма бр. Высоцких. А еще через несколько лет Чохов рассудил: чем ему работать на других, лучше открыть собственное дело. Теперь он колоссальный богач, русский генеральный консул, владелец огромных чайных и кофейных плантаций.

Бакшеев рассказывал:

— На вид совсем англичанин: высокомерный взгляд, цедит сквозь зубы, а в душе русак. Держит тесную связь со всеми русскими пароходами. Мы ему возим из России зернистую и паюсную икру, смирновскую водку, гречневую крупу. Наверно, выедет нас встречать. На вас набросится. Всякий новый русский человек так его к себе и тянет. Нас всех он уже знает.

В сиреновой дымке завиделись вдали белые здания Коломбо, главного города Цейлона. В жарком блеске утреннего солнца, игравшем на тихих волнах, нам навстречу мчался белый катерок с развевающимся русским флагом. Он причалил к замедлившему ход нашему пароходу. На трап вскочил на ходу загорелый мужчина с темной бородой, лет сорока пяти, и поднялся на палубу. Его с радушием и почетом встретил весь высший командный наш состав, во главе с капитаном Целинским, изящным поляком с густыми русыми усами, отставным контр-адмиралом. Мне не понравилось: Чохов, с замороженным лицом, поздоровался со всеми нестерпимо покровительственно, а перед ним все явно лебезили.

Сели за роскошный завтрак. Чохова капитан, конечно, посадил рядом с собою. Я оказался как раз против Чохова. Он с вниманием и любопытством приглядывался ко мне, а я все больше закипал к нему враждою. Держался он очень величественно, даже самого капитана называл «милейший» и «мой дорогой». Изобразив на лице английски замороженную любезную улыбку, Чохов обратился ко мне:

— Вы-с, молодой человек, как,— в первый раз тут, в наших краях?

Я с вызовом оглядел его и резко сказал:

— Позвольте довести до вашего сведения, что у воспитанных людей не принято называть кого-нибудь «молодой человек», «милейший», «мой дорогой». Это хамство. Осведомятся об имени-отчестве, так и называют, и уж не забывают, не путают.

Присутствующие замерли и, довольные, опустили взгляды в тарелки. Чохов усмехнулся, оглядел меня. Я с удивлением

заметил: как будто мой ответ ему прямо понравился. Он согнал с лица замороженную улыбку и смиренно спросил:

— А как вас по имени-отчеству величать?

— Владимир Александрович.

— Буду помнить-с.

В конце завтрака Чохов послал к себе на катер за десертом. Принесли шампанского, ананасов и других фруктов. Чохов очистил какой-то мною никогда не виданный фрукт, положил на тарелочку и подал мне.

— Вот, Владимир Александрович, попробуйте. Этого, наверно, вы никогда не едали. Называется «мангустана». Перевозки никакой не выносит. А стоит даже специально сюда приехать, чтоб попробовать.

Я холодно ответил:

— Благодарю вас, мне не хочется.

Чохов встал, обошел стол, сел рядом со мною, положил руку мне на локоть. Что-то детское появилось на его загорелом, темнобородом лице.

— Что хамом вы меня назвали, так это, может, и верно. Какое я воспитание получил! Вы на меня не сердитесь.

Я сконфузился и крепко пожал ему руку.

«В знак примирения» Чохов заставил меня съесть фрукт на тарелочке.

В жизнь свою не едал я ничего подобного. Он воротился на свое место.

После завтрака Чохов подошел ко мне вместе с капитаном.

— Владимир Александрович, не пожалеете ли вы ко мне сегодня пообедать чем бог послал? Вот Люциан Адамович, еще двое с вашего парохода. Я бы очень был рад, если бы и вы мне сделали честь откусать у меня. Не побрезгуйте!

Я поблагодарил. Он спросил:

— Вы в винт играете?

— Играю.

— Вот! Повинтим.

Чохов уехал на своем катерке.

К вечеру облачились мы в белые кителя и на нашем катерке поехали в Коломбо — капитан, первый его помощник, старший механик и я. Старший механик Бакшеев продолжал осведомлять меня:

— Курьезнейший тип! Вы заметили — настоящий англичанин. А бороду не хочет снять. Во всем же прочем рабски им подражает. Обедает, как они, обязательно в смокинге и крахмальном воротничке, а воротничок от здешней жары

моментально превращается в мокрую тряпочку. Живет, как все деловые англичане, в подгородной вилле, а в городе занимает помещение в гостинице и там ведет все дела. Из кожи лезет, чтобы выглядеть англичанином, а англичане его презируют и знакомства с ним не водят... Вот, подъезжаем. Ну, готовьтесь. Сейчас перед вами развернется Шехерезада.

Подошли к пристани, пришвартовались. Коридором в два ряда стояли во фронт команды всех чоховских кораблей в фантастической форме, сверкавшей золотом. В конце этого коридора появились два высоких индуса с длинными бородами, в желтых шелковых тюрбанах. Подошли. Прижав руки крестом к груди, в пояс поклонились нам и через живой коридор вывели на небольшую площадь к английской гостинице «Виктория». Один индус остался в вестибюле, другой повел нас во второй этаж, в апартаменты Чохова.

Чохов радушно встретил нас в богато обставленном салоне. Нудно поговорили о жаре, о погоде. Чохов предложил сыграть пару роберков в винт. Сели с одним выходящим, сыграли четыре робера. Чохов играл скверно и всем проиграл. Как-никак время убили, и не нужно было придумывать разговоров.

— Ну-с, господа, теперь прошу откусать чем бог послал.

Чохов вышел и воротился в белом пикейном смокинге с шелковыми отворотами. Мы спустились в ресторан.

Уже стояли два сдвинутых вместе столика. Почтительный толстый метрдотель. Шеренга лакеев. Столик у стены с обильною закускою, икра, смирновская водка во льду. Чохов все оглядел хозяйским оком и предложил садиться. Обедавшие англичане с великолепным пренебрежением следили за ним.

В первый раз в жизни я ел подлинно роскошный обед с не виданными мною кушаньями, начиная с черепахового супа. Вина подавались каждому, какого кто желал. Кофе, ликеры.

Встали из-за стола с шумящими головами, вышли из ресторана. Я разочарованно шепнул Бакшееву:

— И все?

Хотелось еще чего-то, веселого и яркого, что-нибудь предпринять, шуметь, смеяться, куда-нибудь ехать.

Бакшеев улыбнулся.

— Шехерезада только начинается.

Мы вышли на площадь. Солнце уже село, и, как всегда на тропиках, быстро наступила ночь. На востоке стоял огромный месяц. Чохов сказал:

— У меня тут под городом есть небольшая дачка. Так, паршивенькая. От скуки не желаете ли — прокатимся, поглядим.

— С удовольствием.

С самых тех пор как вошли в ресторан, у Чохова опять был английски надменный вид, и говорил он цедя сквозь зубы. Медленно и громко он ударил два раза в ладони. Из-за угла вылетела великолепная, просторная карета, запряженная четверкою белых красавцев коней. На козлах сидел с длинным бичом индус в тюрбане, с бородою по пояс. На запятках кареты другой индус. Он соскочил и распахнул дверцы кареты.

Мы сели. Лошади понеслись. Карета мягко покачивалась. Резина шуршала по гравию. Темно-синее небо, узорно вырезные листья пальм, ярко-белый месяц, поблескивающая под ним гладь озера. Было красиво неестественною, оперною красотою. Вот сейчас в красном мундире английского офицера из-за угла буддийской пагоды выступит Собинов и запоем арию из «Лакме».

Ехали с полчаса. Свернули с шоссе в сторону. Роскошная арка-ворота, освещенная бегающими отблесками. По обе стороны въезда стояло по семь индусов с факелами в руках. Карета обогнула огромный, прямо благоухающий цветник и подкатила к крыльцу трехэтажного деревянного дома в русском стиле, с петушками и резными карнизами. У входа тоже стояли индусы с факелами.

По широкой лестнице мы поднялись на второй этаж. Чохов исчез. Бакшеев заговорил вполголоса:

— Вы замечаете: он занят только вами. Мы ему неинтересны — все давно уже знаем. А перед вами он сейчас пойдет развертывать свою Шехерезаду... Здесь, во втором этаже, он живет сам, внизу — служащие, а в третьем — любовница его. Только ее он нам не покажет. У него на острове еще две виллы — на чайной и на кофейной плантациях, и в каждой вилле еще по любовнице.

Мы сидели в комнате, убранной в мавританском стиле. Оживленно вошел Чохов. Он по-детски сиял, как будто сейчас перед ребенком должна была распахнуться дверь на залитую огнями елку.

— Ну-с! Вот-с! — обратился ко мне Чохов. — Не угодно ли поглядеть. Комната в чистейшем мавританском стиле! Много я на нее потратил времени и средств. Вот, например, табуреточка...

Я уже раньше обратил внимание на круглые табуретки, чудесно вырезанные из черного дерева.

— Вот! Табуреточка-с!.. Возьмите в руки!

— Да я и так вижу, прекрасная табуретка.

— Ну, возьмите же в руки! — просящим голосом обижаемого ребенка сказал Чохов.

Капитан Целинский мне шепнул:

— Возьмите! Доставьте хозяину удовольствие.

Я взял табуретку за ножку, табуретка как приросла к полу, тяжесть неимоверная. Я в недоумении пробормотал:

— Что такое?

Чохов в восторге хохотал. Остальные улыбались. Бакшеев стал мне объяснять:

— Это, вы думаете, черное дерево? Не черное, а железное. Ему цены нет. Ни топор, ни рубанок его не берут, только пила и рашпиль. Клей не клеит, все собрано на шурупах. Штучка, я вам доложу, замечательная, достойная музея.

Чохов сказал:

— Проведите-ка ногтем по полировке. Ну, проведите же, я вас очень прошу. Покрепче нажимайте, не бойтесь. Видите, никакого следа, ха-ха-ха!.. Я вам одну такую табуреточку на пароход пришлю в подарок.

Пошли дальше. Комната в индусском стиле. Над огромным камином арка с лестничными ступенями, и на каждой ступени по статуе Будды различнойших размеров. Чохов указал на статую средних размеров и лукаво попросил:

— Возьмите-ка в руки.

Я засмеялся:

— Опять в руки?

Сзади зашептали:

— Возьмите! Возьмите!

Неужели тот же фокус? Взял в руки — опять «как приросла». Из чистого золота статуя, около трех пудов весом. Чохов сиял.

Повел дальше. Мало разнообразной оказалась чоховская Шехерезада. Ничего, что бы затронуло и взволновало душу. Все должно было изумлять лишь своею дороговизною, тяжестью, редкостностью. Мы откровенно зевали.

Кончив осмотр, пили чай с чоховских плантаций, с индусскими печеньями и мартелевским коньяком. Разговоры совершенно истощились.

Мы сказали, что нам пора. Чохов оживился, позвонил. С почетом проводил до кареты. Опять стояли длинноротые индусы с факелами. Карета весело ринулась прочь.

Ночью я лежал у себя в каюте. Было томяще жарко, хотя

я перед сном принял холодный душ. Я тогда не знал, что в подобных случаях нужно брать душ горячий, сколько можно вытерпеть. Иллюминаторы каюты были открыты.

Электрические огни города, отражаясь в воде, серебряными зайчиками прыгали по потолку каюты. На пароходе грузили уголь, гремели лебедки, кричали и ругались матросы. Тело противно липло.

Конечно, все-таки честь ему, что он не пьянствует с утра до утра, что не поливает шампанским дорожек сада. Медленно наваливалась тяжелая дремота. Вот сидит он сейчас у себя на даче с русскими петушками под тропическими пальмами. Черная табуретка давит тяжестью пол, золотой Будда двусмысленно улыбается над камином. Самодовольно улыбается хозяин, вспоминая изумление юного врача. Потом лениво встает, отправляется наверх к любовнице и без подъема, без порыва получает от нее полагающуюся ему дань притворной страсти. Как скучно быть богатым!.. Как скучно!

Через десять лет Чохов покончил с собою: увлекся биржевою игрою и совершенно разорился. Был он так богат — зачем ему нужна была игра? Должно быть, искал в ней того же, чего тщетно искал в черных табуретках и золотых буддах.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Была в Туле знаменитая самоварная фабрика братьев Баташовых. На каждом их самоваре, спереди над краном, стоял штамп:

*Василий
Александр
Иван
Баташovy*

и изображены были полученные фирмой на выставках медали с неправдоподобными профилями царей и символических женщин-республик.

Младший из братьев, Иван Степанович, окончил медицинский факультет, выделился из предприятия и жил трудовую жизнью интеллигента-врача. Второй брат, Александр Степанович, выделился много позже, когда дела фирмы были уже в полном расцвете. Владельцем предприятия остался один старший брат, Василий Степанович.

При нем дело продолжало расти, и он богател все больше.

Но и Александр Степанович, выделившись, оказался владельцем очень крупного капитала. Капитал этот и к смерти его не совсем оскудел, несмотря на постоянные большие траты. Когда Александр Степанович выделился, был он здоров, в средних еще годах, свободен от всяких дел и забот. И встала перед ним такая, как будто легкая, а вправду такая трудная-трудная задача, как жизнь без труда. Чтобы не задохнуться от скуки, чтобы жить сколько-нибудь счастливо, богатому человеку нужно быть и духовно богатым. Если же этого нет...

Александр Степанович был в Москве и возвращался в Тулу. Осенний дождь лил ливнем, холодный ветер дул бесшумно. Пообедав и выпив у Яра, Александр Степанович на лихаче приехал на Театральную площадь. Длинною вереницею стояли извозчики в ожидании театрального разъезда. Александр Степанович подрядил *их всех* ехать с ним на Курский вокзал. Площадь опустела. Для театральной публики не осталось ни одного извозчика. По Маросейке и Покровке двигалась длиннейшая процессия порожних извозчиков. Впереди ехал на лихаче Александр Степанович и хохотал, представляя себе, как нарядные дамы, подобрав юбки, будут шлепать в туфельках по огромным лужам. Время от времени он объезжал процессию кругом, чтобы убедиться, все ли в порядке. У Курского вокзала городовые с беспокойным удивлением наблюдали необычную сцену: стоял в богатой бобровой шубе господин, к нему длинной вереницей один за другим подъезжали порожние извозчики, и он давал каждому по пять рублей.

На окраине Тулы, за церковью Александра Невского, был большой сад, почему, не знаю, называвшийся Баташовским. В нем по вечерам играла музыка, гуляла публика, выступали эстрадные артисты. Середину сада занимал большой пруд, весь зацветший ряскою. Однажды в воскресенье, основательно позаседав с толпою прихлебателей в садовом буфете, Александр Степанович вышел к пруду, подошел к хорошенькой мещанской девице, показал сторублевую бумажку и сказал:

— Барышня! Если вы сейчас в полном вашем наряде прыгнете в пруд и окунетесь с головою, то эта сторублевочка будет ваша.

Девушка обомлела от счастья. Быстро собралась толпа. Девушка прыгнула в пруд, окунулась и вылезла — смешная, вся в зеленой тине, с обмокшей и расплзшейся при-

ческой, с юбками, прилипшими к ногам. Александр Степанович и вся публика покатывались с хохота. Девушка получила сторублевку и убежала домой.

Много рассказов ходило по Туле об Александре Степановиче. И все это были разные чудачества. Отберет у нищего мальчика суму и просит дать для него милостыни, а мальчик ходит следом и ноет:

— Дяденька, отдай сумку!

Едет по улице верхом на осле и что-то проповедует собравшейся публике. Подойдет городской.

— Ваше степенство! Прекратите! Нет на это дозволения начальства!

— Ступай... знаешь, куда?

Сунет ему пятирублевку, и городской скрывается за углом.

Страсть, которою Александр Степанович жил, которая владела им целиком, была страсть к славе. Он жертвовал крупные деньги на разнообразнейшие благотворительные учреждения. На улицах Тулы бросались в глаза вывески, золотом по голубому: «Убежище для слепых имени А. С. Баташова», «Вдовий дом, учрежденный иждивением А. С. Баташова» и т. п. Во всех учреждениях этих висели большие портреты Александра Степановича с грудью, увешанною орденами и медалями. Был, конечно, и неизбежный персидский орден Льва и Солнца за пожертвования в скудную персидскую казну.

Александр Степанович выпустил целую книгу под заглавием:

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА БАТАШОВА

В восторженно-хвалебном стиле в книге описывалась самоотверженная жизнь Александра Степановича, его сердечные заботы о страждущих и болящих, перепечатаны были все им полученные аттестаты, свидетельства и благодарственные письма губернаторш, архиереев и других высоких особ.

Еще он увлекался куроводством, получал награды на куриных выставках. Случайно я в одном доме в Петербурге познакомился с барышней, служившей в конторе распространенного иллюстрированного журнала «Нива». Она мне сказала:

— Ах, вы из Тулы. Мы недавно получили оттуда письмо от какого-то Баташова. Он пишет: «Прошу ответить, сколько это будет стоить, чтобы напечатать в вашем жур-

нале мой портрет и написать, что я первый благодетель России, потому что у меня самый лучший в России куриный завод, а также много жертвовал на слепых и разных бедных».

Под старость у Александра Степановича случилось что-то с ногою, и ее пришлось ампутировать. Озорство в нем не умирало. Он заказал гроб для своей ноги. На кладбище похоронить ее не позволили. Он похоронил за кладбищенской оградой. Нашелся священник, который за хорошие деньги тайно отслужил над баташовской ногою панихиду. Над могилою своей ноги Баташов водрузил камень с надписью:

**ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ НОГА
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА БАТАШОВА,
потомственного почетного гражданина,
многих орденов и медалей кавалера.**

Однако полиция заставила этот камень снять.

Вскоре умер и сам Александр Степанович. Никто не помнил об его жертвованиях, никто не ценил их, никто не «благословлял его имени». Только держалось несколько лет воспоминание об его смешных причудах и озорных выходках, ни в ком не будивших уважения.

МИЛЛИОНЕРША И ДОЧЬ

Когда Валя была гимназисткой, а я гимназистом, я был влюблен в нее романтической юношескою любовью. Полногрудая, с русою косою до пояса, с круглым, румяным лицом и синими глазами навывкате. Тип русской красавицы.

Я поступил в Московский университет. Валя осталась в Пожарске, начала выезжать. Ничего общего между нами не оказалось. Любовь погасла серо и незаметно, как дождливый осенний вечер в мутных тучах.

За Валею усердно ухаживал молодой, но преуспевающий чиновник казенной палаты. Она благосклонно принимала его ухаживания. Но он был женат. Жена его отравилась. Валя вышла за него замуж.

Через три года он умер. Валя переселилась обратно к родителям. Отец ее был артиллерийский подполковник. Дал дочерям светское воспитание, но был очень небогат.

Пришлось Вале поступить кассиршей на товарную стан-

цию железной дороги. Своим красиво-медлительным, задумчиво звучащим голосом она говорила знакомым:

— Вы только подумайте: труд — и я! Что может быть общего?

Прошло еще года два. Вдруг — ошеломляющая весть: Валя вышла замуж за вдовца-купца Талдыкина. Старик под шестьдесят лет, миллионер, вел крупную хлебную торговлю на станции Аксиньино, держал ряд трактиров на больших дорогах. Седые усы, ястребиный нос над маленьким подбородком, долгополый сюртук. Представляю себе, как должна была его пленить такая красавица в русском стиле, как Валя, притом со светским воспитанием и прекрасным французским языком.

Валя иногда приезжала из Аксиньино в Пожарск. Голос у нее стал уверенный и властный. Она веско утверждала, что купечество — это фундамент культуры, что оно оплодотворяет своею работою и сельское хозяйство и промышленность. А однажды разоткровенничалась с моею тетей и стала ей рассказывать о кутежах, которые устраивают у Яра купцы-миллионеры и в которых ей приходится участвовать.

— Вы знаете, Юлия Сергеевна, за эти два года, как я второй раз замужем, я столько узнала грязи, сколько даже не думала, что есть на свете!

Тетя слушала ее рассказы, широко раскрыв глаза от омерзения и негодования.

Говорили, что муж Валю поколачивает. У нее родилась от него девочка Кира. Вскоре Талдыкин умер. Дело его перешло к сыновьям от первого брака, а жене он оставил дом в Пожарске и полтора миллиона чистоганом. Валя стала свободною вдовою-миллионершей. Поселилась в Пожарске, дом свой укрепила, как крепость. Выходные двери были на трех замках и на прочных крюках, окна в решетках. Ночной сторож должен был постоянно стучать колотушкою под окнами.

Валя смертно скучала. Разыгрывала роль неутешной вдовы. Стены комнат увешала увеличенными копиями с портретов, где была снята вместе с мужем, в безвкусных золотых рамах. Девочке ее Кире было пять лет. Остренькая мышинная мордочка и надменные губы. Все ее прихоти мать исполняла беспрекословно, строго следила, чтобы девочка не получала темных впечатлений. Раз Кира, объевшись шоколадом до отвала, бросила большую плитку «Гала-Петер» в ночной горшок (няню, однако, не угостила). Потом для забавы начала спускать в щель пола се-

ребряные рубли. Няня стала ей говорить о бедных детях, которым было бы можно отдать шоколад и помочь рублями. Услышала это Валя и пришла в бешенство. Распушила няню и предупредила, что рассчитает ее, если еще раз услышит, что она рассказывает Кирочке о бедных, о несчастиях, о болезнях.

Друзей и близких людей у Вали не было. Отношения с родителями и сестрами были холодные: Валя боялась, чтоб они не стали просить у нее денег. От скуки она иногда посещала мою тетю Юлию Сергеевну, свою гимназическую учительницу истории. Тетя однажды высказала ей удивление, как она скучно живет, как страшно одинока, как вокруг нее нет решительно никого. Валя ответила пренебрежительно:

— Мне люди не важны, мне важны рубли. С рублями всегда буду иметь сколько угодно друзей.

Старушка слушала и грустно покачивала головою.

Другой раз Валя зашла к ней и, заливаясь смехом, рассказала:

— Представьте себе, стирала у нас вчера Настасья. С нею была ее девчонка Аксютка. Кирочка вцепилась ей в волосы и стала таскать. Мы так смеялись!

Юлия Сергеевна изумленно глядела.

— Чему же вы смеялись?

— Аксютка старше и много сильнее Кирочки, но я была тут, и она не смела защищаться. Только морщилась и пищала. Ужасно была смешная.

Юлия Сергеевна, задыхаясь, попросила Вальку больше к ней не приходить.

Странное дело! Валя была из интеллигентной семьи, но насквозь была пропитана как будто прирожденным купеческим благоговейным отношением к рублю. Рубль был для нее действительно все. Младшая ее сестра, Шура, курсистка, вышла замуж за студента-электротехника. Ждала ребенка. Жили, конечно, очень бедно. И Валя — п-р-о-д-а-в-а-л-а сестре детские вещи, оставшиеся от Киры, — пеленки и т. п.

Я отбыл ссылку. Въезд в столицы был мне воспрещен. Я поселился в родном Пожарске. После рассказов тети мне было интересно в натуре увидеть, чем стала Валя. Я посетил ее в ее крепости.

Она вспыхнула, когда неожиданно увидела меня, и заметно взволновалась. Вспоминала о наших гимназических годах,

о том, сколько тогда в жизни было поэзии, как чисты и целомудренны были увлечения и как странно — почему с отъездом моим в университет отношения наши прекратились? И прибавила, понизив голос:

— Может быть, тогда бы вся жизнь сложилась иначе.

Она непритворно светилась. И в ответ у меня слабо заколыхались светлые тени минувшего. Валя просила бывать. Я подумал: может быть, и приду?

Пожарское студенческое землячество устраивало вечеринку. Врачи, адвокаты, либеральные чиновники платили за билет по десять — двадцать рублей. Я принес билет Вале, ждал, что она даст, по крайней мере, рублей сто.

У Вали стало скучающе-холодное лицо. Она спросила:

— Это что за вечеринка? Куда пойдут деньги?

— Пойдут на помощь нуждающимся студентам, на плату за учебу, на студенческую столовую.

В глазах ее я ясно прочел:

«Как вы мне все надоели с вашим клянчаньем денег, — боже, как надоели!»

Ушла и брезгливо вынесла мне три рубля.

Отказаться я не считал себя вправе: каждый дает сколько хочет. Взял и сейчас же ушел. И больше у Вали не был.

Шла война. Был 1915 год. Я получил в Москве письмо от Вали. Она извещала, что переселилась из Пожарска в Москву и была бы очень рада, если бы я посетил ее. Выражала недоумение, почему у нас оборвалось знакомство в Пожарске... Что ж! Понаблюдаем еще! Меня в ней продолжало интересовать, чем она живет, что от своего богатства получает? Ведь чего женибудь она ждала, если свою красоту, молодость, непотрепанную свежесть целиком отдала во владение крючконосому старику, некультурному и развратному.

Валя жила в первоклассной гостинице, занимала с дочерью два больших номера. Почему уехала из Пожарска?

— Вы себе не представляете, Дмитрий Евгеньевич, что за мука быть богатым человеком, когда все кругом об этом знают. Единственное спасение — бежать туда, где тебя никто не знает.

Почему живет в гостинице?

— Спокойнее. Хозяйства не вести, об обеде не думать, от прислуги не зависеть.

— Вы что же, очень заняты?

— Н-нет...

— Делаете что-нибудь?

— Зачем мне делать? Я вполне обеспечена.

— А не скучно вам?

Она промолчала и повела меня показать соседний номер, где жила ее дочь. Стены комнаты были увешаны большими фотографиями лошадей. Валя рассказала, что Кирочка страстно увлекается бегами и скачками, знает наперечет имена всех знаменитых лошадей и наездников, без ума от наездника Кетона. Вот и сейчас она на бегах.

В комнату вбежала Кира — худощаво-угловатый подросток лет четырнадцати, с острою мышиною мордочкою. Глаза блестели, она была в упоении. Не обращая на меня внимания, она стала рассказывать матери:

— Мама, мама, что сейчас было!.. Ехала я на трамвае. И вдруг встречный трамвай переехал на остановке собачонку. Отрезал ей задние ноги. Кровь фонтаном, собачонка крутится, визжит, все кругом ахают!.. Только я одна весело смеялась! Наверно, Кетон сказал бы, что у меня стальное сердце!

Валя, конфузясь, перебила ее и познакомила со мною. Кира наскоро поздоровалась и повторила с гордостью:

— Наверно, наверно, Кетон сказал бы, что у меня стальное сердце!

Февральская революция. Октябрьская. Кончилась гражданская война. В 1924 году я получил из Ялты от Вали длинное доплатное письмо, без марки. Она писала, что революция застала ее в Ялте. Капиталы погибли, ценные вещи в Москве и Пожарске реквизированы. Жили они продажей тех немногих вещей, которые были при них. Теперь они пришли к концу. Она и Кира просят милостыни у хлебных лавок и выбирают съедобные остатки из мусорных ям. Родственники теперь, когда она стала нищей, не хотят ее знать. Во имя милосердия и в память о прошлом умоляла помочь ей.

Главное, что я испытал, было чувство большого удовлетворения. Достойный конец! Хотя теперь узнай, что рубли в жизни не все, что в жалости нуждается и сама она с дочерью. Я послал ей денег при холодном письме, что жалею ее, но систематически помогать не могу. Она ответила восторженно-благодарным письмом.

Месяца через два Валя прислала мне написанное ею стихотворение «Гимн пионеров» и просила пристроить куда-нибудь в журнал. В жизнь мою не читал я такой кроважной, гнусной гадости. В гимне ребята грозили буржуйским детям, попавшим в их руки, вспарывать животы

и выкалывать глаза, обещались заморить их голодом и смеяться, когда они будут к ним протягивать руки за хлебом. Я с омерзением разорвал стихи, а Вале ответил, что пересылаю стихи в журнал «Пионер». Если будут приняты, ей ответят по ее адресу. Получил ответное письмо по авиапочте, полное спешки и безмерного ужаса. Валя умоляла как можно, как можно скорее вытребовать из редакции стихи обратно. Я им сообщил ее фамилию и адрес, — вдруг они напечатают стихи с ее фамилией, вдруг как-нибудь иначе стихи дойдут до ее сестры Шуры. Шура — жена инженера-электротехника и ежемесячно высылает ей по семьдесят пять рублей. Если узнает про стихи, перестанет высылать. «А я написала их только в надежде, что мне, может быть, заплатят за них хоть три рубля». Ко всему, Шура, значит, высылает ей деньги, — та Шура, которой Валя, когда была миллионеркой, за деньги продавала ненужные ей пеленки и свивальники дочери!

Время от времени я получал от Вали просительные письма, все более отчаянные. Одну осень проводил я в нашем доме отдыха под Ялтой. Случилось быть в Ялте. На улице встретил Валю. Она сейчас же стала рассказывать, как нуждается, трагическим голосом сказала:

— Вот продала наши с мужем покойным венчальные кольца!

И показала сумку, в которой были разные пакеты, румянились сдобные булки. Я с любопытством приглядывался к Вале: такие отчаянные письма писала, а золотые кольца держала в запасе!

Мы с нею сидели на Пушкинском бульваре. Она рассказывала про дочь:

— На дворе ребята и подростки не дают ей прохода, задирают, дразнят «буржуйкой», «кружевницей». У нее есть кофточка из брюссельских кружев. Кружева старые, рваные, чиненные-перечиненные. А девушка молодая, жизнь ее очень нерадостная, конечно, хочется иногда принарядиться. Наденет кружева, — и по всему двору подымается улюлюканье... Боже мой, сколько ей приходится переносить! И с каким она мужеством все несет! Говорит: «Пускай голод, нищета, издевательства, — я бы все снесла, если бы была не Талдыкиной, а княжной Голицыной или графиней Апраксиной. С каким бы я тогда презрением все терпела, насколько бы себя чувствовала выше всей этой сволочи!» А иногда вдруг прорвется рыданиями, и рыдает, рыдает несколько часов, и все повторяет: «Все, все они у меня отняли, проклятые!»

Валя стала утирать глаза рваною, засморканною тряпкой. Потом опять заговорила:

— Что она будет делать, когда я умру? Спать не могу я от этой мысли! Она и сама понимает, что тогда погибнет. Недавно я сильно заболела, температура поднялась выше сорока. Кирочка испугалась, стала меня расталкивать: «Мама, мама, ты умрешь, что я тогда буду делать? Сейчас же пойдем и вместе утопимся в море! Слышишь? Вставай сейчас же!» Но я была так слаба! А море мне представлялось таким холодным! Я не пошла.

— Ну и дочка! Трогательно! Мать тяжело больна, а дочь, вместо того чтоб за ней ухаживать,— «иди, топись со мною!»

Валя страдальчески наморщилась:

— Нет, она это так сказала, но все время за мною ухаживала...

Помолчали. Я сказал:

— Объясните мне, пожалуйста. Вы с дочерью вашей сильно нуждаетесь. Почему она не работает? Да и вы не такая уж старая и больная, чтобы не работать.

Валя неохотно ответила:

— Кирочка совсем не привыкла к работе. А меня кто же возьмет? Ведь я «буржуазный элемент».

— Ну, научились бы что-нибудь делать. И вы и дочь ваша.

— Что делать? Я ничего не умею. Вот меня недавно звала одна знакомая помогать ей на кухне,— она в Корее сдает комнаты со столом. Ну, что же я могу? Сделаю котлеты — они у меня разваливаются.

Говорила она красиво-медлительным, мило-беспомощным голосом. Положительно, она гордилась своею неумелостью и никчемностью!

Я сурово сказал:

— Я вам сделаю котлеты так, что они не развалятся. Спеку вам и белый и черный хлеб. Революция всему нас научила. Поглядите кругом: все нашли себе какую-нибудь работу и помимо службы: плетут сумки для провизии, вяжут чулки и джемперы. Да мало ли что можно придумать! Сейчас во всем нужда.

Валя вяло ответила:

— Когда я была богата, я не думала, что это может пригодиться, а теперь кто же захочет обучать конкурента?

«Да,— я подумал,— единственное, что ты в жизни сумела сделать, это выгодно продать свое тело! И сделкою этою

надеялась навсегда застраховать себя и дочь от необходимости трудиться. Ошиблась, голубушка!»

Мне стало ясно: труд был для нее органически противен, она скорее была готова нищенствовать, лгать, унижаться, только бы не трудиться. Прирожденный паразит. Как может вошь не быть паразитом?

Мы поднимались от бульвара по переулку.

— Только я очень спешу.

Она умоляюще сказала:

— На пять минут!.. А я надеялась, что вы у нас хоть кофе попьете. Сегодня я имею возможность угостить...

Вошли в небольшой садик с кипарисами. На широкую террасу выходило несколько дверей. Валя нажала на ручку боковой двери. Дверь была заперта изнутри.

— Кирочка! К нам пришел Дмитрий Евгеньевич. Можно войти?

Властный голос спокойно ответил:

— Нельзя.

Ждали минут двадцать. За дверью слышался стук ручкомойника, плеск воды. Валя волновалась, но поторопить не смела. Наконец щелкнул ключ. Голос сказал:

— Можно.

Комната была неубрана. Почему-то на самой середине высился мраморный ручкомойник с разбитой доской. На полу стояла лужа мыльной воды. В кресле сидела девушка с гордым, надменным лицом, в роскошном платье из кружев. Не знаю, были ли эти кружева полноценные или «чиненые-перечиненые», но в то пуританское время на всякого такой наряд должен был производить впечатление вызывающей роскоши.

Валя отодвинула ручкомойник в угол и стала подтирать тряпкою пол. Кира сидела неподвижною статуей и молчала. Потом пренебрежительно взглянула на меня и заговорила:

— Вас, может быть, удивляет, что мама вытирает за мною пол, а я сижу и ничего не делаю? Всю жизнь, когда я что-нибудь хотела сделать для себя, мама меня останавливала и говорила: «Для этого есть горничная». Ну а теперь у меня горничной нет, а меня мама к ней приучила. Пусть же сама делает то, что должна бы делать горничная.

Валя выжимала грязную тряпку над ведром и смиренно молчала. Кира очень похорошела, выровнялась. Но в голосе звучала ненависть и непрощающая обида. За что? За то, что мать ее не научила?

Я сказал, сдерживая улыбку:

— Уверяю вас, научиться тому, что делает горничная,

вовсе не трудно. Вы напрасно такого плохого мнения о ваших способностях.

Кира вспыхнула и презрительно закусила губу. Валя с умоляющим испугом взглянула на меня... Да, кажется, единственное живое чувство, которое когда-либо жило в ней, была материнская любовь. Но и это живое чувство она положила на создание какой мертвой жизненной ненужности!

Больше я их не встречал. Валя, кажется, умерла. Судьбой Киры я не интересовался.

СОФРОНИЙ МАТВЕЕВИЧ

В Алексине у Воскобойникова оказался его товарищ по физико-математическому факультету Пересыпкин, и всю нашу компанию в пять человек он привел ночевать к нему. Воскобойников сейчас был студентом-медиком, а Пересыпкин уже третий год служил учителем математики и физики в тульской женской гимназии и имел в Алексине собственную дачку.

Мы были студенты, мы были молоды, радовались на свою молодость и гордились ею. И все кругом, мы чувствовали, радовались на нас — и сам Пересыпкин, рыжеватый и плотный, с растерянным смехом, и его миловидная, худенькая жена, и ее румяная сестра-гимназистка, и ее старик отец Софроний Матвеевич, с крючковатым носом и маленьким подбородком, бритым с неделю назад. Что было еще важнее молодости — у нас было будущее, неизвестно какое, но наверно яркое и солнечное, не то, например, что у Пересыпкина: все уже определилось, учитель гимназии, дачка, жена...

Давно стояла засуха. Сухое, красное солнце спускалось за колокольнями в пыльную даль. Мы пили в беседке чай, смеялись, шутили. Пели хором:

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой,
Ради сладкого труда,
Ради вольности веселой
Собрались мы сюда!..

За решетчатой оградой девушки на улице внимательно слушали.

Старик тесть Пересыпкина, Софроний Матвеевич, сообщил нам, что он человек шестидесятих годов, что у него

в Туле полный комплект «Современника» времен сотрудничества в нем Чернышевского и Добролюбова.

— Там и «Что делать?» Николая Гавриловича полностью... Вот был журнал!.. И заметьте, все столпы журнала — Николаи: Николай Некрасов, Николай Чернышевский, Николай Добролюбов, Николай Щедрин, Николай Костомаров, Николай Помяловский... Хе-хе!

Воскобойникову почему-то нравилось заставлять людей проявляться с самой гнусной стороны и в душе потешаться над ними. Он радикальничал и безбожничал перед стариком, тот с готовностью поддакивал и смеялся.

Софроний Матвеевич рассказывал:

— Засуха жестокая. Мужички здешние всё молебны служат о дожде. Крепка еще в них эта темная религиозность! Сидит для них на небе капризный старикашка. Поклоняйся хорошенько — пошлет дождичка, не поклонишься — уморит голодом... Попы здесь сейчас вот как нажимаются! Каждый день молебны служат о дожде. И все никаких результатов!

Он захохотал. Жена Пересыпкина с удивлением слушала отца. Воскобойников спросил:

— Поповские речи, оказывается, не вода?

— Да. Они хоть и водянисты, но не вода... Хе-хе!

Спать нас положили на сеновале сарая. Тотчас же все заснули. На заре я проснулся. Так было хорошо кругом, что не хотелось тратить время на сон. Восток светлел, ярко горела утренняя звезда, стояла сухая прохлада, на горке белела церковь, в ней медленно и протяжно звонили к ранней обедне.

Вдруг дверь в доме скрипнула. На крылечко двора вышел Софроний Матвеевич в картузе с четырехугольным козырьком. Подозрительно огляделся, внимательно покосился на сеновал и пошел к уличной калитке. Сверху мне было видно, как он поднимался по пустынной площади к церкви.

Да! В церковь шел, к обедне! Потихоньку, чтобы кто из нас не увидел!.. Бога, бога своего он стыдился и вел с ним дела тайком, чтобы не компрометировать себя знакомством с ним!

ВЕРА ФИГНЕР

Я с нею познакомился, помнится, в 1915 или 1916 году. На каком-то исполнительном собрании в Московском лите-

ратурно-художественном кружке меня подвел к ней и познакомил журналист Ю. А. Бунин, брат писателя. Сидел с нею рядом. Она сообщила, что привезла с собою из Нижнего свои воспоминания и хотела бы прочесть их в кругу беллетристов. Пригласила меня на это чтение — на Пречистенку, в квартире ее друга В. Д. Лебедевой, у которой Вера Николаевна остановилась.

Подошел Ю. А. Бунин. Маленький, кругленький, с всегда благожелательною улыбкою на красненьком лице. Типичнейший во всем москвич.

— Вера Николаевна! На вашем чтении очень хотел бы присутствовать Сергей Сергеевич Голоушев — известный художественный критик Сергей Глаголь.

Вера Николаевна подняла голову и прищурила глаза.

— Это тот, который был в процессе ста девяносто трех, а потом служил полицейским врачом? Нет, избавьте!

Так это было не по-московски! Во-первых, ну, полицейский врач, — что же из того? А во-вторых: счел человек нужным почему-нибудь отказать, — и лицо станет растерянным, глаза забегают. «Я, знаете, с удовольствием бы... Но, к сожалению, помещение тесное... Несмотря на все желание, никак не могу...» А тут, как острым топором отрубила: «избавьте!»

На чтении присутствовали, сколько помню, В. Я. Брюсов, И. А. и Ю. А. Бунины, А. Б. Дерман, Б. К. Зайцев, А. С. Серафимович, Н. Д. Телешов, А. Н. Толстой, И. С. Шмелев и др. Один из товарищей, впервые увидевший Веру Николаевну, был изумлен безмерно:

— Я думал, увижу косматую, безобразную нигилистку, с грязными ногтями, размахивающую руками, и вдруг, — какая красота, какое изящество!

И правда: ей было за шестьдесят лет, но и теперь она поражала сдержанно-гордой, властной красотой и каким-то прирожденным изяществом. Что же было, когда она была молода! Я представляю себе: иной студент с восторгом шел на виселицу, на каторгу, — только чтобы эти прекрасные, суровые глаза с товарищеской лаской улыбнулись ему и благословили на подвиг.

Она невысокого роста. Губы решительные, властные, во всем — что-то благородно-соколиное. Но иногда при разговоре вдруг брови поднимаются, как у двенадцатилетней девочки, и все лицо делается трогательно-детским.

Но какая красота! Какая красота!

Передо мною два ее портрета. Они помещены в первом томе Полного собрания ее сочинений.

Первый портрет — 1877 года, когда ей было двадцать пять лет. Девически чистое лицо, очень толстая и длинная коса сбегает по правому плечу вниз. Вышитая мордовская рубашка под черной бархатной безрукавкой. На прекрасном лице — грусть, но грусть светлая, решимость и глубокое удовлетворение. Она нашла дорогу и вся живет революционной работой, в которую ушла целиком. «Девушка строгого, почти монашеского типа». Так определил ее Глеб Успенский, как раз в то время познакомившийся с нею.

Второй портрет — 1883 года. Фотография снята после ее ареста, для Александра III. Невозможно себе представить более трагического лица. Но невозможно представить и более трагического положения, вызвавшего такое лицо. Прогремело 1 марта, всколыхнувшее весь мир. Непрерывные покушения на Александра II, взрыв мины на Московско-Курской железной дороге при проезде царя, взрыв в центре Зимнего дворца, где он жил, мина на Малой Садовой улице, где он мог проехать, и, наконец, бомбометальщики на Екатерининском канале, с ним покончившие. Было и в России, и за границей впечатление, что друг против друга стоят две огромные силы: самодержавие со своим всеохватывающим полицейским аппаратом — и неуловимый исполнительный комитет «Народной воли», держащий в непрерывном трепете бессильную против него власть. В действительности грозный этот комитет представлял из себя небольшую кучку смелых и решительных людей человек в тридцать, на своих плечах выносивших огромную эту борьбу. Уже до 1 марта сознание бессилия охватывало большинство членов комитета, даже такого человека, как Желябов. Нарастало чувство усталости и развинченности. После 1 марта большинство было схвачено, казнено или заключено в казематы самых страшных крепостей. Из членов исполнительного комитета уцелела одна Вера Фигнер. В руки ее перешло все дело партии, перед нею встала задача создать новый центр. Вера Николаевна рассказывает:

«С тяжелым чувством вспоминаю я темную полосу жизни, наступившую затем. Я видела, что все начинания мои не приводят ни к чему. Что я ни придумывала, все сметалось, принося гибель тем, кого я привлекала к участию... Я упорствовала, но все было напрасно. Кругом меня все рушилось, все гibly, а я оставалась одна, чтобы

совершать скорбный путь, не видя конца. Наружно я бодрилась, а в тишине ночной думала с тоской: «Будет ли *конец*? *Мой конец*?» Наутро надевалась маска и начиналась прежняя работа. Близкие знакомые не раз говорили мне: «Почему вы задумываетесь так? Почему вы смотрите куда-то вдаль?» Это было потому, что в душе звучало не переставая: «тяжело жить!» и взгляд бессознательно обращался вдаль, потому что в этой дали скрывался *конец*».

А все по-прежнему были убеждены, что исполнительный комитет представляет из себя серьезную грозную силу. И вот до чего доходило. В Харьков к Вере Николаевне приехал знаменитый в то время критик и публицист Н. К. Михайловский, ближайший сотрудник «Отечественных записок». Радикальный публицист Н. Я. Николадзе передал ему для сообщения исполнительному комитету ошеломляющее предложение русского правительства, сделанное через министра императорского двора графа Воронцова-Дашкова: правительство утомлено борьбою с «Народной волей» и жаждет мира. Оно сознает, что рамки общественной деятельности должны быть расширены, и готово вступить на путь назревших реформ. Но оно не может приступить к ним под угрозой революционного террора. Если «Народная воля» воздержится от террористических актов до коронации, то при коронации будет издан манифест, дающий полную политическую амнистию, свободу печати и свободу мирной социалистической пропаганды.

Вера Николаевна отказалась вести переговоры, правильно увидев в предложении лишь попытку одурачить революционеров, чтобы во время коронации обезопасить царя от террористических покушений.

10 февраля 1883 года, преданная Дегаевым, Фигнер была арестована.

Тут вот и была снята с нее фотография, о которой я упомянул. Изумительный портрет по глубочайшей, безысходной трагичности прекрасного этого лица. И когда смотришь на этот портрет, как смешон становится трагизм разных Федр и Медей, леди Макбет и Дездемон! Мелкие любовные делишки, мелкая месть, своекорыстные преступления. А здесь... Фигнер вспоминает:

«Революционное движение было разбито, организация разрушена, исполнительный комитет погиб до последнего человека. Народ и общество не поддерживали нас. Мы оказались одиночки... Туже затягивалась петля самодержавия,

и, уходя из жизни, мы не оставляли наследников, которые продолжали бы начатую борьбу».

Веру Фигнер судили. Суд приговорил ее к смертной казни. Через восемь дней объявили, что государь император всемилостивейше изволил заменить ей смертную казнь каторгой без срока. Надели на нее пропитанный потом, несоразмерно большой арестантский серый халат с желтым бубновым тузом на спине и отвезли в Шлиссельбургскую крепость. Там она пробыла в одиночном заключении двадцать два года.

Странное я испытываю чувство, когда смотрю на Веру Николаевну, когда разговариваю с нею. Я знал не одного крупного человека. Но подобного чувства совсем не было при общении, например, с Чеховым, Короленко, Горьким, Станиславским, Шаляпиным. Здесь передо мною было настоящее, близкое, рядом стоящее. А то, что к Вере Николаевне, я испытывал только со Львом Толстым. Странно было видеть в настоящем этих двух людей, так ярко осиянных прошедшим. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Островский, Некрасов, Тютчев, Фет — и Лев Толстой. Желябов, Софья Перовская, Александр Михайлов, Кибальчич — и Вера Фигнер. И вот вдруг эти двое — Толстой и Фигнер — перед тобою живые, слышишь их голос, говоришь с ними. Странное, необычное впечатление, как если бы вдруг увидел и заговорил с Гете, Спартаксом или Юлием Цезарем.

Я пристально приглядываюсь к ней. Какой цельный, законченный образ революционера, — «революционера, который никогда не отступает» (ее выражение). Слово, ни в чем не расходящееся с делом. Смелость на решительный шаг. И непрерывная борьба — на воле со всероссийским императором, в шлиссельбургском каземате — с каким-нибудь злобным старикашкой-смотрителем. Из скудной тюремной библиотеки администрация изъясала все сколько-нибудь дельные книги. Сговорились голодовкою требовать отмены этого постановления. Книга в одиночном заключении — это три четверти жизни. «Голодовку, как я понимаю, — пишет Фигнер, — надо или вовсе не предпринимать, или предпринимать с серьезным решением вести до конца». Один заключенный за другим, не выдержав, прекращали голодовку. Держалась одна Фигнер и медленно приближалась к смерти. Двое товарищей простукали ей, что, если она умрет, они покончат с собою. Только это заставило ее прекратить голодовку, — она ее прекратила с отчаянием и с разбитою

верую в мужество товарищей. Лет через пятнадцать администрация вдруг решила восстановить во всей строгости тюремные правила, смягчения которых заключенные в течение многих годов добились путем упорнейшей борьбы, сидения в карцере, самоубийств. Вера Николаевна, не полагаясь уже на товарищей, решила бороться в одиночку. В объяснении с офицером-смотрителем она сорвала с него погоны — величайшее для офицера бесчестие, — чтобы ее судили и там она могла бы рассказать о всех незаконных притеснениях, чинимых над ними. Несколько месяцев она жила в ожидании суда с неминуемо долженствовавшей последовать смертной казнью. Но дело предпочли замять.

Она очень нервна. От малейшего неожиданного шума вздрагивает, как от сильного электрического тока. Легко раздражается. Долгие годы одиночного заключения сильно надломили здоровье когда-то крепкой и жизнерадостной женщины. В большом обществе малознакомых людей держится замкнуто и как будто сурово, многим кажется высокомерной. Она сама пишет:

«Тюремное заключение изуродовало меня: оно сделало меня, по отношению к обществу людей, чувствительной мимозой, листья которой бессильно опускаются после каждого прикосновения к ним. Присутствие людей тяготило, вызывало какое-то нервное трепетанье; потребность быть с людьми упала до минимума. Мне и теперь трудно быть много с людьми».

При близком знакомстве она пленяет необоримо. Мы иногда виделись. Нравилась ее нестесняющаяся прямота и простота в отношениях. Раз зашел к ней по делу часа в два дня. Она в коридоре варит на керосинке кофе.

— Пройдите в комнату, я сейчас.

В комнате сидит человек средних лет. Вошла Вера Николаевна с дымящимся кофейником.

— Вас, Викентий Викентьевич, я кофе не угощаю. Это — приезжий из Нижнего, я для него варила.

Так просто — и как хорошо! Другая пошла бы подвигать кофе, чтобы на всех хватило, вместо беседы с пришедшим толклась бы за керосинкой, и никому это не было бы нужно.

Прочел подаренную ею книгу — «Запечатленный труд», подробную ее автобиографию. Сказал ей:

— Мне не нравится, что мало конкретных бытовых подробностей. Поэтому образы их не стоят передо мною живь-

ем. А главное — теней мало. Нимбы, как вы сами признаете. Может быть, Плутарх и полезен для юношества, но мне тогда только и дорог герой, когда он — с мелкими и даже крупными недостатками и, несмотря на это, все-таки герой. Позвольте, например, узнать, — вы этого в своей книге не объясняете, — почему товарищи называли вас «Топни-ножкой»?

Вера Николаевна засмеялась.

— Потому что у хорошеньких женщин есть привычка топтать ножкой.

Ну, разве от одной этой подробности образ «стальной революционерки» Веры Фигнер не становится живее, ближе и милее?

2 февраля 1927 года. Недели две назад, вдруг слабо вспыхнув застенчивой улыбкой, такую странную на ее лице, она сказала:

— Когда вы в следующий раз придете ко мне, я вам дам письмо к вам.

— От кого?

— От меня.

— Отчего же просто не скажете?

— Нет, это нужно письмом.

И вот сегодня, с тою же вспыхнувшей застенчивой улыбкой, дала мне письмо.

Дома прочел его — и ничего не понял. О ком идет речь? Кто такой Р.? Что за статья? Раза три перечитал и, наконец, вспомнил.

Года три назад мне случайно попал в руки берлинский журнал на русском языке «Эпопея», под редакцией Андрея Белого. В нем, между прочим, были помещены воспоминания о Февральской революции Алексея Ремизова под вычурным заглавием: «Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова. Орь». Откровенный обыватель, с циничным самодовольством выворачивающий свое обывательское нутро, для которого в налетевшем урагане кардинальнейший вопрос: «революция или чай пить?» Одна из главок была такая:

СТАЛЬ И КАМЕНЬ

Были у Веры Николаевны Фигнер.

Я уже раз ее видел на первом скифском собрании в январе у С. Д. Мстиславского.

Закал в ней особенный, как вылитая.

Или так: одни по душе какие-то рыхлые, как будто приросшие еще к вещам, и шаг их тяжелый, идут, будто выди-

раются из опута, другие же, как сталь,— холодной сферой окружены — и в этой стали бьется живая воля, и эта воля может быть беспощадна.

Я чего-то всегда боюсь таких.

Или потому, что сам-то как кисель, и моя воля — *неразлучна*.

И мне надо как-то слова расставлять, чтобы почувствовать, что слова мои проникают через эту холодную сферу.

Веру Николаевну я больше слушал и старался отвечать по-человечески, а это было очень трудно, и выходило очень глупо.

Веру Николаевну я слушал и смотрел так, как на живую память.

Ведь с ней соединена целая история русской жизни — совсем недоступная моей душе сторона, выразившаяся для нее в имени — 1 марта.

Я это всегда представлял себе — от убийства до казни,— как сквозь густой промозглый туман, по спине от зяби мурашки, и хочется, чтобы было так, если б можно было вдруг проснуться.

И не это, а неволя — Шлиссельбургская крепость — долгие одиночные годы смотрели на меня, и я не мог поверить,— такая крепь!— и верил.

Я дал Вере Николаевне прочесть это. Ее, мне показалось, все эти восхваления очень мало тронули. Она сказала с недоумением:

— Вот странно! А тогда же, по одному случаю, я получила от него несколько строчек совсем в другом роде, я много раз их перечитывала...

Вот что она теперь писала мне в письме, о котором я говорил:

25.1.27

Викентий Викентьевич.

Я редко встречаюсь с вами и в разговоре не чувствую себя свободной.

Два года назад вы дали мне прочесть:

«КАМЕНЬ И СТАЛЬ»

И всадили мне занозу.

Если б Р. прочел 2-ю часть «Запечатленного труда», он узнал бы, как я чувствовала за себя и за других, и не только чувствовала, но и реагировала.

Я познакомилась с Р. и его женой в 1917 году, но мы не

сблизилась. Он остался для меня чужим и непонятным, а его литературные произведения не находили никакого отклика во мне.

В конце 18 г. в начале 19-го, когда улицы Петербурга были завалены снегом и на них целыми сутками лежали мертвые лошади, деревянные дома разбирались на топливо, и мы, высшая категория, получали восьмушку хлеба (из овса), похожую на комок конского навоза, кто-то сказал мне, что Р. погибает от нужды.

Моим ресурсом был литературный заработок, и как раз я получила тогда 300 р. за два фельетона в газете «Власть народа». Я написала Р., чтоб он взял эти деньги как бессрочно отдаленный заем.

В ответ я получила записку, строки четыре. Он писал, что не находил слов для описания положения, из которого я вывожу его. Далее была отдельная написанная строчка, давшая мне великую награду:

«Никогда не забуду».

Но он забыл. Не только забыл, но и оскорбил полным непониманием моего внутреннего «я».

В наивности своей, быть может, он даже думал, что пишет нечто лестное для меня!

Он многого не видел на свете: на заводе Кокериля в Бельгии я видела громадную, правильно обработанную глыбу железа, которую при известной температуре при мне разрезали с такою же легкостью, с какой режут плитку сливочно-го масла.

А в Швейцарии я видела высокие скалы твердокаменной породы. Прозрачная вода струится из них каплями, и они падают на землю, как слезы.

Их зовут: Rochers de pleus¹

В. Ф.

Письмо представляется мне неоценимо характерным не только для самой Веры Фигнер, но и для всех революционеров ее эпохи и ее склада: холод стали,— да, хорошо! Но — если под этою сталью бьется горячее человеческое сердце. Арестованную на юге Софью Перовскую везли в Петербург по железной дороге два жандарма. Она несколько раз имела возможность убежать, но жандармы относились к ней доверчиво. И она не сочла возможным их подводить. И убежала только в Чудове, где жандармы попались свирепые.

¹ Скалы слез (франц.).

Каляев имел удобный случай бросить бомбу под карету вел. князя Сергея, но в карете, вместе с Сергеем, сидели дети,— и Каляев прошел мимо, не бросив бомбы.

Но как же, с другой стороны, характерен и этот тоскующий по чаю обыватель: «холодную атмосферу» помнит хорошо, а об горячей руке помощи, протянувшейся к нему из этой атмосферы в смертную минуту гибели,— забыл или не почел нужным вспомнить!

6 марта 1927 г. Возмущается драматургами и беллетристами, выводящими ее в числе других революционных деятелей в драмах и романах из эпохи народовольчества. Какая бесцеремонность! Как можно выводить живых людей!

— Вы настолько принадлежите истории, что возмущаться этим нечего. А лучше было бы, если бы после смерти? Теперь хоть имеете возможность возразить, если что не так.

— Да что возражать? Как возражать? Слащавые, худольные, напыщенные фигуры,— человек искренно воображает, что возвеличивает. Совсем все это делалось не так, все было гораздо проще, серее — и, может быть, именно поэтому — гораздо величественнее. Странно было тогда даже подумать, что мы совершаем какие-то «подвиги». Читала статьи о себе. Ив. Ив. Попова, Сергея Иванова,— все фальшь, все не так, противно читать. Или вот Ник. Ал. Морозов: описывает в своих воспоминаниях, как я раз явилась к нему в тюрьму: открывается дверь, меня вводят, надзиратель запирает за мною дверь,— и мы целый час беседуем. Он это изображает как какое-то чудесное видение, как бешено-смелый поступок с моей стороны. А все было так просто! Я посещала в тюрьме мою сестру. Разрешения на свидания давал прокурор, который совершенно не мог устоять перед... (Она запнулась)... перед хорошеньким личиком. Я про это слышала, пошла к нему и попросила дать мне свидание с Морозовым. Он дал. Больше ничего.

— С Глебом Успенским я встречалась, но по большей части в неинтересной, обывательской компании. Раз я попросила его дать свою квартиру под конспиративное собрание. Он отказал. Я молода была, прямолинейна,— отнеслась к этому с резким осуждением. Теперь понимаю, что он был прав: у него несколько раз был обыск, квартира находилась под наблюдением.

— Мы тогда были ярые народницы и негодовали на то, как Глеб Успенский изображает мужиков. Он посмеивался: «Вере Николаевне хочется шоколадных мужичков».

Глеб Успенский, Венера Милосская и Вера Фигнер.— В 1872 году Глеб Успенский был в Париже. Он побывал в Лувре и писал об нем жене:

«Вот где можно опомниться и выздороветь!.. Тут больше всего и святее всего Венера Милосская. Это вот что такое: лицо, полное ума глубокого, скромная, мужественная, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни. Это — такое лекарство от всего гадкого, что есть на душе, что не знаю,— какое есть еще другое? В стороне стоит диванчик, на котором больной Гейне, каждое утро приходя сюда, плакал».

Один из друзей Успенского, А. И. Иванчин-Писарев, рассказывает:

«Мне казалось, что, передавая свои впечатления от Венеры Милосской, Глеб Иванович не замедлит воспользоваться ими для очередного рассказа. Между тем время шло, а Венера Милосская не находила себе места в его произведениях. Очевидно, ему чего-то недоставало для реализации этой темы, нужна была встреча с человеком высшего порядка, в котором высокая идея была бы гармонично слита с его личными переживаниями. С таким человеком он столкнулся в лице Веры Николаевны Фигнер. Он почти молитвенно преклонялся перед нею, восторгался ее умом, энергией и в особенности отзывчивостью к людским страданиям даже в тех случаях, когда причины этих страданий могли казаться ничтожными с ее личной точки зрения. «Она понимает великое горе,— говорил он о ней.— Страдает человек из-за пустяков, а ей все-таки жаль его, готова помочь... Великое сердце!»

В 1885 году, в серии рассказов «Кой про что», Успенский напечатал рассказ «Выпрямила», будто бы из записок деревенского учителя Тяпушкина. Душа была истерзана целым рядом тяжелых явлений тогдашней российской действительности. И вдруг, как ярко светящиеся силуэты на темном фоне, перед глазами начинают проходить неожиданно всплывшие воспоминания, наполняя душу сильным, радостным теплом.

«Что-то серое, темное, и на этом фоне — фигура девушки строгого, почти монашеского типа. Та глубокая печаль, печаль *о не своем горе*, которая была начертана на этом лице, была так гармонически слита с ее личной, собственной ее печалью, до такой степени эти две печали сливались *в одну*, не давая возможности проникнуть в ее сердце, даже в сон ее

чему-нибудь такому, что могло нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла, — что при одном взгляде на нее всякое страдание теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, ж и в ы м, что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: «как хорошо! как славно!»

От образа Веры Фигнер воспоминание переходит к давнему впечатлению от Венеры Милосской, полученному тринадцать лет назад.

«Я стоял перед нею, смотрел на нее и непрестанно спрашивал себя: «Что такое со мной случилось?» Почувствовал я, что со мною случилась большая радость... Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося в меня? Я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного существа... Как бы вы тщательно ни разбирали это великое создание с точки зрения «женской прелести», вы на каждом шагу будете убеждаться, что творец этого художественного произведения имел какую-то другую, высшую цель. Да, ему нужно было и людям своего времени, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах огромную красоту ч е л о в е ч е с к о г о существа, показать всем нам и обрадовать нас видимою для всех нас возможностью быть прекрасными... Он создавал то истинное в человеке, чего сейчас, сию минуту, нет ни в ком, ни в чем и нигде, но что есть в то же время в каждом человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку».

Нужно сделать усилие, чтобы ограничить себя в выписках из этой замечательной статьи Успенского — самого глубокого и самого прекрасного во всей мировой литературе, что написано о Венере Милосской. Интересно тут то проявление самой светлой и самой высшей человеческой гармонии, которую Глеб Успенский наиболее почувствовал в мраморной эллинской богине с острова Милоса и в живой русской девушке-революционерке. Мысль о несравненной гармонии самопожертвования, о которой говорят не — «как страшно!», а — «как хорошо! как славно!» — мысль эта, которую Успенский почувствовал в Вере Фигнер, не покидала его до смерти. В 1884 году, во время суда над Фигнер, Успенский через ее сестру передал ей, что он ей завидуует. Это

очень удивило Веру Николаевну. Положение было никак уж не такое, чтобы вызывать зависть. Она пишет:

«Почему, почему?» — думала я. И решила в одном понятном мне смысле: Глеб Иванович видел во мне в эти минуты цельного, нераздвоенного человека, шедшего определенной дорогой без колебаний и оглядки, имеющего что-то заветное, за что отдает все».

Прошли годы. Глеб Успенский, безнадежно сошедший с ума, находился в психиатрической лечебнице доктора Фрея. Иванчин-Писарев рассказывает:

«Глубокие симпатии его к Вере Николаевне сказались даже в его бредовых идеях. В зависимости от его несколько мистического настроения образ Веры Николаевны стал воплощаться в «монахиню Маргариту, приносящую с собою утешение и одобрение».

«Угрюмый сидел я, склонивши голову, — рассказывал Глеб Иванович, — вдруг чувствую — именно чувствую, а не вижу, — что ко мне медленно приближается женщина в белоснежной одежде. Сосредоточенная, строгая, она смотрит на меня с глубокой тоской. Такою я видел Веру Николаевну, когда она была удручена чем-нибудь. Да и видение, как мне казалось, походило на нее. Были и другие знакомые черты, ее глаза, фигура... Она подошла ко мне и любовно положила на мое плечо свою руку. Я очнулся, поднял глаза и увидел, что все небо, как яркими звездами, усыпано человеческими сердцами. Всё сердца, сердца... Весь мир переполнила она любовью. С этого момента я стал замечать, что здоровье мое улучшается. Светлые промежутки стали чаще. А чуть, бывало, снова набежит мрак, ненависть к людям, жажда смерти — мой ангел-хранитель, Маргарита, опять со мною».

МИМОХОДОМ

Было это последним летом в Крыму.

Секретарь местного сельсовета — молодой партиец — и приезжая журналистка разговорились. Вот ведь какая нелепость: в дачный поселок съезжается летом самая отборная интеллигенция; отдыхают, жарятся под солнцем на пляже, купаются, гуляют, флиртуют; а тут же рядом — темная деревня, безграмотная, дикая, живущая только хулиганством,

пьянкой и абортами. Как бы было хорошо учредить Общество шефства дачного поселка над деревней. Пусть бы профессора читали крестьянам доступные лекции по своей специальности, в клубе выступали бы певцы, музыканты, артисты, писатели.

Секретарь сельсовета добавил:

— А для начала — хоть бы библиотеку нашу привели в порядок. Книг много, тысячи полторы, но все кучами навалено в шкапах, каталога нету, всякий берет из шкапов что хочет и не возвращает. Расхода на izbача нам не утвердили, но пусть бы только привели библиотеку в порядок; я уж сам, если никто не пожелает, буду выдавать книги два раза в неделю. — И прибавил с улыбкой: — Работы так много, что и не заметишь, больше ли ее на два лишних часа в неделю.

И журналистка сказала:

— Да, конечно! Здесь отдыхает масса молодежи, вузовцев; найдутся и библиотekarши. Всякий с охотой пойдет, поработает часа два-три в день. С миру по нитке, а глядишь, — к осени библиотека будет приведена в порядок.

Стали они вдвоем обходить дачников и предлагать основать общество. Первым делом пришли к известному одному профессору, автору книги «Кант и диалектика». Он со смеющимися глазами выслушал их.

— Сомневаюсь, чтоб многие откликнулись на ваш призыв. Публика инертна, приехала сюда отдыхать... Впрочем, все дело в активном ядре. Удастся вам подобрать человека три-четыре энергичных, — ну, что-нибудь сделаете. Что меня касается, то, конечно, много времени я на это отдавать не могу, но лекцию-другую прочту с удовольствием.

И все другие дачники выразили свое принципиальное согласие. Образовали инициативную группу. Инициативная группа собрала общее собрание. На собрание пришло восемь человек, но причины были совершенно случайные: как раз в этот день в сельской школе шел вечер самодеятельности, и многим интересно было его поглядеть, многие уехали в экскурсию. Решено было созвать новое собрание через неделю.

Утром журналистка лежала на пляже. Рядом с нею одевалась девушка с загорелым телом. Оделась, приладила к спине заплечный мешок, взяла рогатую палку. Спросила журналистку:

— Скажите, товарищ, есть тут в деревне библиотека-читальня?

— Есть. Только в большом беспорядке, поэтому книг

теперь не выдают. Как раз собираемся привести ее в порядок.

И журналистка с одушевлением рассказала об Обществе шефства над деревней.

Дивчина сказала:

— День-другой я могла бы у вас поработать. Куда мне обратиться?

— Спросите в сельсовете секретаря сельсовета, он вам покажет. А вы здесь живете?

— Нет, иду из Феодосии.

У ней были короткие, невьющиеся русые волосы, светлее загорелого лица, нос немножко загнут кверху. Белая физкультурка, обшитая красным, шаровары, засученные до паха, крепко загоревшие руки и ноги. Сотни таких девчат можно видеть летом в южных домах отдыха. На вид ей было лет семнадцать — такое у нее было молодое лицо. Но оказалось, она уже кончает вуз в Ленинграде и пишет дипломную работу по математике. Летом была на практике, консультантом-математиком на одном южном заводе. Накопила там денег и решила обойти пешком Крым, от Феодосии до Севастополя.

Пришла дивчина в сельсовет, спросила секретаря. Был он молодой парень с узким лицом и высоким лбом, в голубой майке, с низким вырезом на груди.

— Мне там на пляже сказали, что у вас есть работа в библиотеке.

Секретарь замаялся.

— Есть-то есть. Только работа большая. Тысячи полторы книг в полном хаосе. Нужно привести в порядок. И потом... платить мы за работу не можем.

— Я вас про это не спрашиваю. Покажите, я посмотрю.

Секретарь ввел ее в боковую комнатку с запертым пыльным оконцем. Раскрыл шкапы. Дивчина сейчас же достала пачку книг и, разговаривая с секретарем, стала ее разбирать.

— Да, работа не маленькая. Ну, хорошо. Поработаю.

И тут же взялась за работу. Это было утром. Часа в три сбегала на базар, купила помидоров и огурцов, съела с хлебом, это был ее обед. Проработала до ночи.

Секретарь с удивлением приглядывался к ее несуетливо-быстрой работе. Она коротко сказала:

— Спать я тут останусь.

— Ну где тут, что вы! Мы вам отведем комнату. Вы для нас работаете, вправе же вы хоть отдохнуть. А тут душно и пыльно; да и устроиться негде.

— На столе устроюсь. Не надо комнаты. А вот это я у вас попрошу. По карточке я получаю триста граммов хлеба.— И вдруг она виновато улыбнулась.— Никак на это нельзя быть сытой целый день. Дайте мне разрешение на шестьсот граммов. Это будет очень хорошо.

Секретарь понял: с монетами было у дивчины туговато; питается она, видимо, одним хлебом с помидорами; конечно, этак на триста граммов хлеба сытым не будешь.

Обещал вопрос насчет хлеба уладить. Она разостлала на столе плащ, вместо подушки положила заплечный мешок. Он пожелал ей доброй ночи.

С утра она уже опять работала. В соседней комнате секретарь производил регистрацию вновь прибывших дачников. Между прочим, две библиотекарши из Москвы. Дивчина наша услышала, вышла, попросила библиотечек зайти к ней. Объяснила, в чем дело, и предложила помочь. Говорила, а сама в это время резала бумагу для библиотечных карточек. После обеда библиотечкарши пришли, и стали они работать втроем.

На следующее утро пришел секретарь в сельсовет. В библиотечной комнате шум, галдеж, смех. Заглянул. Сидят за столом восемь ребят-школьников и наклеивают ярлычки на корешки книг. Работают, как играют. Дивчина с серьезным лицом рассказывает что-то смешное, и они хохочут. Приспособила к работе также двух местных ребят-комсомольцев. Так было весело, что у секретаря грустно и сиротливо стало на душе: хотелось замешаться в эту веселую, кипящую работой толпу и с нею вместе работать изо всех сил и смеяться.

На третий день к вечеру все было кончено. Дивчина сказала, что завтра рано утром пойдет дальше, а сейчас отправится с комсомольцами кататься по морю на лодке.

Рано утром секретарь встал, чтоб проводить ее, подошел к сельсовету и видит: дивчина спустилась с крылечка с тазом грязной воды, выплеснула таз под куст дикой маслины и стала развешивать на перилах мокрые тряпки. Секретарь изумился. Что это? На прощание она еще вымыла в библиотеке пол!

Секретарь взволнованно глядел на нее и сказал сконфуженно:

— К сожалению, товарищ, мы не можем заплатить вам за вашу работу, у нас на это не отпущено средств.

— Я же вам сказала,— я и не прошу. До Алушты хва-

тит денег дойти. А там устроюсь работать на виноградниках. Два рубля за день. Проработаю с неделю,— четырнадцать рублей. Работу на виноградниках я знаю.

Секретарь подумал и сказал:

— Ну, хоть вот что: мы вам выдадим справку от Совета, что вы здесь три дня занимались самой интенсивной общественной работой. Вы ведь знаете,— такая справка очень сейчас важна, особенно для учащихся.

Она поглядела ему в глаза, засмеялась, махнула рукой и, с заплочным мешком на спине, зашагала по шоссе к Судаку.

Через две недели состоялось общее собрание членов Общества шефства дачного поселка над деревней. Избрано было исполбюро в составе семи человек из наиболее активных дачников и крестьян. Через неделю собралось исполбюро, выбрало председателя, секретаря и постановило выработать план работ. Через две недели собрались снова, обсудили план и постановили: ввиду окончания лета и начинающегося разезда дачников отложить работу до начала будущего сезона, а тогда взяться за дело с максимальной энергией.

ЮРА

ОДНОГО ГОДА

Только что научился ходить. Идет неуверенно-пьяной походкой, вскидывая ножонки и крепко припечатывая их к полу. Если куда нужно поскорее, предпочитает привычный способ — ползет, быстро подбирая зад.

Ударился головою о спинку кровати. Заплакал. Мать притворилась спящей и не отозвалась на плач. Перестал плакать, с любопытством поглядел на угол спинки, слегка ударился головой. Потом сильнее. И заревел.

Тугой, с блестящими глазенками. Трясет перед ухом папиросную коробку с двумя камушками в ней, упоенно слушает. Потом откроет коробку, с любопытством разглядывает камушки. С трудом закроет — и опять трясет перед ухом, и слушает, широко раскрыв глаза.

Плетеный стульчик лежит на полу, спинкой кверху. Юрка чувствует, что из него можно сделать хорошую забаву, но не знает, как подступиться. Взялся за передние ножки. Вдруг торжествующий крик: «Га!» — и поехал со стулом по комнате. Доехал до конца комнаты, ударился стулом о стену, стал поворачивать. Стул задел его ножкой и свалил. Юра заплакал. С трудом повернул и поехал обратно. На лице торжествующее наслаждение.

Но чего-то никак не мог сообразить: возьмется за обе ножки — и под руками твердо, возьмется за одну — стул подвертывается, и Юра летит с ним на пол. Наконец что-то уловил. Когда стул начинает под рукой уходить вниз, быстро отдергивает руку, шатающейся походкой идет к матери, берет ее за палец и подводит к стулу. Она дает ему хорошо взяться за ножки — и Юрка с тем же торжествующим криком «га!» едет к противоположной стене.

ДВУХ ЛЕТ

Кругом — огромный мир, полный непонятнейших загадок и самых неожиданных решений.

На палке лошадиная головка. Юра вечером скакал на ней по комнате, остановился у стены. Вытащил палку, держит в руках. Вдруг испуганно заплакал.

— Кто это?

На белой стене — черная тень лошадиной головки. Бросил палку и с ревом убежал за шкаф. Отец и мать стали объяснять, что такое тень, показывали ему отражение своих профилей, его собственные ручонки. Но когда потом показали тень лошадки, Юра затопал ногами, опять заплакал и зажмурился. И вдруг сказал:

— Больше не буду смотреть. Я забоялся.

С зажмуренными глазами поужинал, дал себя раздеть и уложить в постель. С зажмуренными глазами и заснул.

На следующий день идет с матерью по улице. От солнца перед ними четкие тени. Увидел их уже как старых знакомых. Показывает пальцем.

— Как их звать?

— Тень.

Радостно засмеялся.

— Мама, моя маленькая тень, твоя большая!

Долго следил за движением своей тени. Наконец с недоумением спросил:

— А куда этот мальчик идет? Домой, с нами?

И вопросы, вопросы без конца. Такие, на которые и взрослому трудно ответить, и такие, которые на взгляд взрослого совсем глупы.

— Почему листья падают?

— Кто сделал солнце?

— Кто приклеил лампочку на дом?

— А чей это дом, кто здесь живет?

— А зачем у тети завязан пальчик?

— Как я сделался?

Долго смотрел на крышу соседнего дома. Вдруг говорит:

— Люди упали.

— Откуда упали?

— С крыши.

В чем дело? Никакие люди не падали с крыши. Выяснилось: вчера с этой крыши счищали снег, а сегодня людей на ней нет.

Набросил себе на голову большой черный платок. Долго сидел, с любопытством ворочая головой. Потом сбросил платок.

— Мама, ты видела, как сейчас было темно?

В комнате платяной шкаф с большим зеркалом на дверце. Мать боялась, чтобы Юра не стал стучать по зеркалу и не разбил его. Сказала, чтоб он не подходил к шкафу: шкаф сердитый и не любит Юрика. Вошла в комнату. Юра ходит вокруг шкафа, заложив руки за спину, и кричит на шкаф:

— У! У!..

— Что ты делаешь?

— Это я шкаф пугаю. Чтоб думал, что я сердитый. Чтоб шкаф меня боялся.

Мать уехала в служебную командировку. Юра беззаботно играет, матери совсем не вспоминает. Но раз был в Лосиноостровске у тети, играл с ребятами. И не захотел идти домой:

— У всех папа и мама, а у меня только папа!

А другой раз увидел фотографию матери и вдруг горько заплакал. С надеждой заглядывал на изнанку фотографии, разочарованно морщился и плакал еще горше.

На сквере. Неутомимые работнички бесполезных дел, все ребята заняты. Истинные ударники! Юра копает лопаточкой снег, двухлетняя девочка уже полчаса терпеливо укладывает на скамейке рядышком мелкие осколки стекла, другая пеленает куклу. «Играют». Но наукою доказано, что игра маленьких детей и животных — вовсе не «так себе», не баловство. В игре они серьезно и сосредоточенно готовятся к действиям, наиболее впоследствии нужным: котенок гоняется за бумажкой, привязанной к веревочке, — подготовка к умению поймать мышь; щенята грызутся и т. д.

— Папа, пойдй сюда.

— Чего тебе?

На ухо:

— Спроси меня: хочет Юра еще конфетку?

В руках у него плюшевый мишка. Я взял мишку и зарычал. Юра испугался. Объясняю ему.

— Он не страшный?

— Нет. Только как будто страшный.

— Как будто страшный? Не сердитый?

Это уже выработавшийся тип: домработница из деревни. Румяная, неудержимо полнеющая от нетяжелой работы; с огромною крепкою грудью; тело так из нее и прет. В домработницы поступила, чтоб пройти в профсоюз. Некультурная, вороватая, глубоко равнодушная к своему делу, жадная до вкусной еды. Утром пойдет за провизией, пропадает по своим делам часа три, воротится: «Ничего не могла достать». Продала все хлебные карточки: «Потеряла». Надевает для прогулки с кавалерами хозяйкины туфли, чулки.

Такая вот няня у Юры — Дуся. Родители специально для Юры покупают сливочное масло, — фунт исчезает в два дня. Мальчик худеет, по вечерам, при родителях, жадно набрасывается на еду, потому что весь день голодает. Мать заказала для него на обед суп, котлету и молочную рисовую кашу; неожиданно пришла с работы днем: Дуся кормит Юру супом, а котлету и кашу съела сама.

Родители оба заняты и служебную работою и общественною. Весь день ребенок на руках у Дуси. У Юры появились новые слова — грубые, циничные. И не только слова. Однажды он с невероятною игривою улыбкою вдруг потянулся к матери и стал расстегивать у нее на груди кофточку.

— У тебя там два голубка. Дай я поиграю!

Мать в отчаянии, мечется, отыскивая другую домработницу.

Но как раз началась паспортизация, приток из деревни прекратился, домработниц с паспортами рвали из рук. Дуся это учитывала и наглела еще больше.

— Дуся, вчера сестра принесла Юре восемь конфеток, я их положила на стол. Где они?

— Я съела.

— Как же ты могла?! Не знаешь, что это для ребенка принесли, а не для тебя? Ведь сахару даю тебе сколько хочешь.

— Мне сахар больше не нравится.

— А нравятся конфеты, покупай сама.

— Мне нравится хозяйские есть.

Юра очень замкнут, все тяжелое переживает сам с собою. Но в глазах появился испуг. Соседки по квартире сообщили матери, что часто слышат в ее комнате взрывы плача Юрки, что Дуся жестоко бьет его, не стесняясь, при всех. Ей говорят:

— Как не стыдно тебе?

А она:

— Своего бы я еще не так, своего бы я просто убила. Мать кинулась к Юре.

— Била тебя Дуся?

— Била нынче. — Помолчал и прибавил: — Сначала била, а потом позалела.

А Дуся на все:

— Не нравится вам — рассчитайте.

Терзает душу это молчание маленького, беззащитного человечка. Бьют его, — и он рад, что хоть под конец его «позалели».

Рассчитали Дусю, с огромными усилиями нашли наконец новую домработницу-няню.

Как-то вечером я подошел к кровати Юры, думал, он уже спит. Но Юра лежал с открытыми глазами. И вдруг благодарно сказал мне:

— Ты хороший.

Так и живет он в двух стихиях: грубой, равнодушной, презрительной, идущей от домработницы, и любовной, нежной, которую дают родители. В первой страдальчески сжимается, во второй чувствует себя центром жизни, баловнем, вызывающим всеобщее восхищение, и нет с ним сладу.

На лето отдали его в детскую коммуну, километров за тридцать от Москвы. За лето вырос, поправился, загорел и как-то загрубел. Не тот темп речи, выговор, не то построение фразы. Нет прежней суетливости, беготни, спешки — и доверчивости. Загрубел и физически и душевно. Но что-то твердое

появилось, подтянутое и мужественное. Однако по ласке, видимо, томится и страдает не по-детски. Серьезно, без улыбки, допрашивает мать:

— А почему ты раньше не приехала? А ты меня не забываешь? А когда ложишься,— помнишь?

При прощании сам несколько раз крепко поцеловал мать и отчетливо сказал:

— До свидание! Приезжай в выходной.

«Дорогой мой мальчик! Тебе сегодня исполнилось три года. Три года назад, в такое же солнечное утро, как сегодня, ты родился. Своим появлением ты много принес мне незабываемой радости. Сегодня я не могла тебя видеть: ты живешь на даче с детками,— я здесь в городе занята, работаю. Через две недели ты приедешь к нам, и мы начнем жить вместе. Я бы хотела, Юрик, чтобы ты не капризничал, не мешал бы мне работать, вел бы себя хорошо... Ты вырастешь у нас новым, и сильным, и славным человеком. Но пока ты растешь, крошка, твоя мама также не хочет отставать от жизни, также хочет расти в работе. Я не хочу, чтобы после ты стеснялся меня, как стеснялась я своей матери, не одобряя общую ее установку жизни. Будь же здоровенький, мой малышка, целую тебя крепко. Твоя мама». (Из дневника.)

ТРЕХ ЛЕТ

Новая няня — старушка, очень религиозная. Раз пришли с прогулки. Мать спрашивает:

— Где ты гулял, сынок?

— Мы гуляли в большом, большом доме. Там Петровна голенького дядю нюхала.

Няня ахнула.

— Что ты, Юра, врешь? Какого я дядю нюхала?

— Да, да! На стенке был дядя голенький нарисован, в простынке. Петровна подошла, рукой возле лица машет и дядю нюхает... А старушки всё баловались: станут на колени и лбом об пол. И Петровна тоже. А я не баловался!

— Что же там еще было?

— Еще два дяди, только совсем как тети, и волосы длинные. В очень красивых платьицах. На платьях много цветов, настоящий сад. Ходили, руками махали и все кричали: оо-оо-ооо!

Шел раз с матерью по лесу. На полянке табун лошадей. Стоят и отмахиваются головами от мух. Юра остановился, долго смотрел.

— Мама, я думал, одни только старушки молятся, а оказывается, и лошадки тоже.

В речи его — постоянная смесь простонародных слов от няни и самых интеллигентских, как «оказывается», — от родителей.

Родителям весьма не нравится, что няня говорит ребенку о боженьке. Строго запретили.

Юре очень понравился «Крокодил» Чуковского. Запомнил из него много звонких стихов, все снова и снова пересматривает картинки, где подвизается гражданин с противной крокодильей мордой, в английском клетчатом пальто. Любовно называет его «крокодилчик».

Укладывали Юру спать. Он засунул в рот уголок простыни. Отец строго сказал:

— Нельзя в рот совать простыню.

— А что можно совать?

— Хлеб, котлету, печенье.

— И конфетку.

— Да, и конфетку.

Все-таки держит простыню во рту. И никакие уговоры отца и матери не помогают. Тогда отец сказал:

— Ну, я скажу крокодилчику. — Снял трубку телефона. — Алло! Тутушка, ты? Позови крокодилчика.

Юра потихоньку вытащил простыню изо рта и сконфуженно стал прислушиваться. Отец спрашивал в телефон:

— Крокодилчик, ты? Юра сует в рот простыню... Нельзя? Я ему говорю, что нельзя, а он не слушается... Юра, крокодилчик сказал, что нельзя простыню совать в рот.

Юра смиренно ответил:

— Я не буду.

Мне было смешно: недоглядели родители! Выгнали боженьку в дверь, а он перекинулся гражданином с крокодильей мордой, облекся в клетчатое пальто и по телефону стал передавать мальчику свои приказы.

Спрашивает отца:

— Кто дождь капает?

— Видал, как губка намокает? Вот так и тучка: намокнет, и тогда из нее начинает капать дождь.

Объяснение Юрку не удовлетворило. Спросил бабушку.

Она долго говорила об испарении, об охлаждении. Юра

слушал внимательно, почтительно и ничего не понял. Однако сказал:

— А папа какой глупый! Говорит: оттого, что тучка намокла.

Мать принесла абрикосов. Жадно стал расспрашивать, на чем вырос, кто деревцо посадил.

— Кто лазил на деревцо его поливать?

Мать смеется:

— Он убежден, что нужно взлезть на дерево и поливать его сверху.

А я возражаю:

— Юра прав. Вы, ученые люди, вы знаете, что вода нужна именно корням дерева. А нам с Юрой откуда это знать? Цветы поливают *сверху*, дождик мочит деревья *сверху*. Почему же и абрикос нужно поливать не сверху?

У Юры была белая, оструганная палка, это была его лошадка; все прогулки он делал на ней верхом. Раз он этой палкой ударил мальчика с соседней дачи. Мать отобрала палку, поставила ее в угол террасы и неделю не давала Юре. Потом с наставлением возвратила.

Через три дня Юра с ревом несет матери на террасу свою палку.

— Ты что?

— На, поставь ее в угол, а то я мальчика побить хочу!

Попадают ему иногда и шлепки. Взгляд на наказание не как на возмездие, а как на неотвратимое последствие дурного поступка.

Плача, кричит матери из садика в окно:

— Мама, возьми меня за ручку, дай шлепка: я мальчику плохое слово сказал.

— Юра, отчего ты так тихо идешь? Устал?

— Нет, я не устал, а просто у меня сегодня ноги тихие.

— Мама, каша горячая, прямо мне в сердце попала.

Виктор Гюго писал: «Имейте жалость к русым головкам». Взрослые мало имеют этой жалости. На серьезные вопросы ребенка, потешаясь, дают дурацкие ответы; лгут для временных целей.

— Мама, поедem в зоопарк.

— Нельзя, детка, дождь идет.

- А почему в дождь нельзя?
- В дождь птички и звери бывают сердитые.
- Кусаются?
- Да.

Прояснилось. Поехали в зоопарк. Юра бегал по дорожкам, пытался ловить перелетавших с пруда уток. Вдруг остановился, робко прижался к матери.

- Ты что?
- Дождик пошел.
- Маленький дождик, это ничего.
- Птичка стала кусачая.
- Что ты глупости говоришь!
- А дождик пошел.

Мать прикусила губу.

Крепыш, здоровяк, с звонким голосом и озорными глазами. Мать его — научный работник, умная и талантливая, но у нее циклотимия, и губы, когда молчит, — страдающие. У Юры тоже в губах страдание. И бессознательно, но настойчиво он охраняет маленькую свою душу от ранящих впечатлений.

Рассказываю ему сказку: мама поехала с Юрой за город на автомобиле. Вдруг (страшным голосом) — на дороге большой слон!

Юра поспешно:

- Он хороший!
- Стоит, машет хоботом. Машина дальше не может ехать, остановилась...

Юра настойчиво:

- Он не сердитый!

Мне непонятно: для меня в детстве — чем страшнее, тем интереснее. Но невольно подчиняюсь.

— Слон говорит: «Не бойтесь меня, а вот я вижу, у вас в машине свободное место. Покатайте моего слоненка».

Юра радостно кричит:

- Покатаем! Садись!
- Поехали дальше со слоненком. Вдруг — трррррр!! Машина свалилась в яму...

- И никого не ушибла!

— Ну, да... Не ушибла. А только яма глубокая. Никак не могут вылезти. Вдруг видят, сверху заяц смотрит...

Юра торжествует.

- И зайчик нас вытащил!
- Юра, подумай: зайчик маленький. Как он может вытащить?

— Ну что жа?

Приходится устроить так, что зайчик сообщает о беде слону, папа-слон и мама-слониха прибегают и всех вытаскивают из ямы.

И теперь у нас с Юрой выработалась точная, хоть и не формулированная в словах договоренность: в сказке все гармонично, светло, участники — хорошие и несердитые и конец совершенно благополучный.

Плакатный рисунок в газете: по черному откосу поднимается вверх большой грузовик, а под откосом лежит разбившийся автомобиль; колеса валяются отдельно. Около стоит человек и протягивает руку к грузовику.

— Что это такое?

— О! Это очень интересная история!.. Ехал в гору автомобиль. Вдруг слетел в овраг. Колеса сломались. Мимо едет грузовик. Человек кричит: «Дядя! дядя! возьми меня с собой!» Шофер остановился, взял его. Приехали в город. Человек купил новые колеса, поехал назад, починил свою машину и — ууу! Покатил.

Юра слушал с горящими глазами.

— Куда покатил?

— Ну, домой.

— А потом?

— И все.

Рассказ произвел на Юру потрясающее впечатление. Глядя на картинку, он стал пересказывать его сам, потом еще раз заставил меня рассказать, опять пересказывает.

Подошла мать.

— Юра, иди творог есть.

Он нетерпеливо отстранил ее, с одушевлением продолжает рассказывать:

— А тогда он кричит: «Дядя, дядя! Возьми меня с собой!» А колеса на земле, сломанные.

Целую неделю только об этом говорил, показывал всем картинку и рассказывал. Приду я — заставляет рассказывать меня, а когда кончу, каждый раз спрашивает:

— А потом?

Непонятно было, что ему еще нужно «потом»? Один раз я кончил так:

— Приехал домой и сел чай пить.

Юра с огромным удовлетворением повторил:

— И сел чай пить.

И несколько раз повторил:

— И сел чай пить.

В прежней редакции для него не хватало концовки.

— Мама, отчего, когда большие ушибуются или упадут, им не больно?

И вопросы, вопросы без конца — для взрослых смешные и дурацкие, а на деле — говорящие об огромном стремлении осмыслить непонятные явления жизни. Не раз уже, кажется, отмечавшийся, удивительно умный вопрос над ночным горшком:

— Мама, почему из меня всегда льется в горшок только чай, а молоко никогда не льется?

— Бывает гусеница, а зайка? Червячок, а верблюд?

— Юра, ну что ты какие спрашиваешь глупости! Сейчас же — «глупости». И сейчас же предположение, что ребенок болтает зря, только чтобы болтать. Юра краснеет.

— А как же бывает жук-олень, жук-носорог?

Винкельман замечает: «В детстве мы смотрим на все происходящее вокруг нас как на нечто необычайное». Верно. В детстве мы видим жизнь собственными, не предвзятыми глазами и улавливаем то, что взрослыми совершенно не замечаем.

Юра спросил:

— Почему очень скоро пососать называется поцеловать?

Я был поражен: как верно подмечено! Ведь правда: поцеловать — это коротко пососать. Как мы этого не замечали?

Логика, действующая по своим, совсем отличным от нашей законам. То так умно, что поражаешься, то так глупо, что недоумеваешь. Мать сидела с Юрой на дворе; на дворе — гараж. Машина собралась ехать. Мальчишки бросились цепляться сзади. Бросился и Юрка. Мать отозвала его. Юра охотно отошел и спросил мать:

— Отчего, как машина поедет, мальчикам обязательно цепляться сзади?

Он порядочный трусишка. Но исполняя гражданский долг, считал нужным исполнять обязанности, наложенные судьбою на мальчиков.

С очень серьезными глазами Юра меня спросил:
— Когда какой-нибудь мальчик умрет, ему потом года засчитываются?

Трудно проникнуть в тайны детской логики. Только после долгих, осторожных расспросов мне удалось выяснить, что тут Юру интересовало. Два года назад он много играл с мальчиком из соседней комнаты Васей. Вася его поколачивал. Тогда же он вскоре умер от скарлатины. Недавно Юра об нем вспомнил. Как же ему в настоящее время представить себе Васю? Если в тех годах, когда он умер, то теперь Юра легко мог бы от него защититься. И вот — вопрос очень существенный: засчитываются Васе последние два года?

И еще изумляет словотворчество ребенка, — не само по себе, а то, как он умеет усвоить дух языка, как сочиняет слова в строгом соответствии с законами именно этого языка.

Юра принимал хинин.

— Горько тебе было?

— Сперва было горько, а потом *отгорьчилось*.

Гуляет весною по скверу.

— Смотри, мама: клен не только цветет, но и *листет*.

Корней Чуковский, так много сделавший в исследовании детской речи, пишет:

«Начиная с двух лет всякий ребенок становится на короткое время гениальным филологом, а потом, к пяти-шести годам, эту гениальность утрачивает. Тончайший оттенок каждой грамматической формы угадывается ребенком с налету, и когда ему понадобится создать то или иное слово, он употребляет именно тот суффикс, именно то окончание, которые по сокровеннейшим законам языка необходимы для данного оттенка мысли и образа. Страшно подумать, какое огромное множество грамматических форм сыплется на его бедную голову, а он, как ни в чем не бывало, ориентируется во всем этом хаосе, ежеминутно сортируя по рубрикам беспорядочные элементы услышанных слов — и при этом даже не замечая своей колоссальной работы! У взрослого лопнул бы череп, если бы ему пришлось в такое малое время усвоить те мириады синтаксических и морфологических форм, которые, играючи, усваивает двухлетний лингвист».

Утром Юра долго с большим любопытством смотрел на пиявок в пруде. А вечером спросил:

— Откуда ко мне язык в рот попал? Из *воде*, наверно.

Долго и сосредоточенно смотрел, как черный жеребенок сосет черную кобылу.

— А молоко тоже черное?

Мать разбирает фотографии.

— Мама, почему тут и папа и ты, а меня нету?

— Ты тогда еще не родился, детка.

Увидел фотографию, на которой одна мать. Побежал с нею в кухню и стал объяснять няне:

— Тут одна мама, а я и папа еще не родились.

Спросил отца, что такое крематорий. Отец объяснил. Юра слушал с большим интересом. Потом сказал с наслаждением:

— Когда вы с мамой умрете, вас тоже будут пекти в крематории?

Родители огорчены.

Родители часто огорчаются понапрасну. Я иногда приношу Юре конфет. Сидит и с аппетитом ест. Мать спрашивает:

— Ты любишь дядю Витю?

— Да. Он мне конфет принес.

Мать ахнула.

— Вот видите! Сколько раз я вам говорила: не носите ему конфет... Ну, а когда дядя Витя без конфет придет, тогда ты его не будешь любить?

— Тогда не стоит.

— Значит, ты его только за конфеты любишь?

Юра подумал:

— Нет, еще за щегла. У него очень щегол хороший, сам в клетку летит, когда платком махнут.

— А дядя Витя за что тебя любит?

Еще подумал.

— Мы ему тоже конфет даем. И еще чаю, печеньиц.

Мать в отчаянии. Станные люди! Требуют от ребенка ответа — за что? Как же он может ответить: «Так, ни за что»? Ну, и подыскивает своим умишком реальные причины. По тому, как он со мною держится, как встречает, я знаю, чувствую, что это не за конфеты, — да и приношу я ему конфеты не так часто. И мать хорошо знает, что не за конфеты. Раз было так. Меня ждали. Вхожу в подъезд. Между двумя дверями подъезда — маленькая фигурка, стоит смирно-смирно.

— Юра, это ты?

Говорю с ним. Он равнодушно и как будто неохотно отвечает, глядит мимо. Я решил: должно быть, поджидает товарища и ему не до меня. Он взял меня за руку, вместе пошли вверх, в квартиру. И вдруг узнаю от матери: это он меня вышел встречать. Не давал матери покоя, все просился и за полчаса уже вышел. И полчаса смирно стоял между

дверями, поджидая меня. А что значит для ребенка в одиночестве и без дела простоять полчаса! А к этому я уже привык: Юра совершенно не проявляет наружно своих чувств.

Через неделю после происшествия с конфетами принес я мышеловку,— мать просила дать на подержание. Юра с любопытством ее рассматривал. Мать спросила:

— Ну, дядя Витя конфет тебе сегодня не принес. Любишь ты его?

— Да. Он нам принес мышеловку.

— Юрка! Ну, а если бы не принес?

Юра нетерпеливо:

— Все равно бы любил.

Мать кормит грудью братишку Юры. Юра подошел, но ему запрещено подходить — у него подозревается ангина. Мать толкнула его ладонью в лоб.

— Ведь сказано тебе, чтобы не подходил к Боре!

Юра вскипел:

— Ты не смеешь меня бить!.. Папа, объясни маме, что она не смеет меня бить.

— Она тебя не била, а оттолкнула.

— Нет, побила, побила!

Иногда он испускает дикие крики, которые очень пугают спящего Борю. Мать потеряла терпение и, в первый раз, поставила Юру в угол.

Юра постоял, подумал и сказал:

— В угол ты меня ставить можешь. А только... Пожалуй-ста, запри дверь; и папе ничего не говори.

Был со своею матерью у тетки в Лосиноостровке. Там сильно озорничал, стал душить ребят тетки. Они сказали, чтобы он больше в Лосиноостровку к ним не приезжал. Мать при мне рассказывает про его подвиги, чтобы его пристыдить. Я Юру спрашиваю:

— Тебя, значит, теперь в Лосиноостровку не пускают?

Вполне спокойно:

— Не пускают.

— Почему?

— Потому что я их душил.

— Зачем же ты их душил?

С эпическим спокойствием:

— Чтоб они были мертвые.

Ужинает. Оживленно болтает с матерью. Вошла няня.
— Юра, а ты рассказал маме, что ты сегодня на сквере делал?

Юра сжался, спросил:

— Что?

— «Что»! Забыл?.. Набросился на маленькую девочку в колясочке, стал бить, таскать за волосы. Мы его хотели отправить в милицию.

Мать негодуя смотрит на Юру.

— Я не бил, только за волосы потаскал.

Юра терпеть не может девочек и постоянно их обижает.

— Ну, завтра не будет тебе твоих игрушек — ни магнита, ни картинок.

Он заревел, вскочил, обнимает мать за шею.

— Нет! Не надо! Ничего не делай плохого! Слышишь, мама? Не делай мне плохого!.. Я просто забыл.

— Забыл, что не надо девочку бить?

— Да.

— А думал, что надо?.. За что ты ее бил?

— Ни за что. Просто забыл.

Пришел к ним, спрашиваю:

— Ну, Юра, как живешь?

— Плохо.

— Что так?

Вздыхнул.

— Очень много балуюсь.— Помолчал.— А ты как живешь?

— Хорошо.

— Не балуешься?!

ДРУЗЬЯ В МАСКАХ

Есть ученые биологи-педанты, типичные гетевские Вагнеры. Они называют себя дарвинистами, но, когда речь заходит о душевной и умственной деятельности животных, строго сдвигают брови и предостерегающе напоминают, что нельзя приписывать животным наших чувств и мыслей, что у них это только инстинкты, условные рефлексy. Вот, например, немецкий биолог А. Беете. Он решительно утверждает, что животные — простые «рефлексные машины»: они ничего не переживают, ничем не огорчаются, ничему не радуются, не способны ни к каким умозаключениям.

Дарвин ввел человека в огромную родственную семью животных, показал, что нет извечной, качественной разницы между человеком и животным, что все человеческие свойства путем длительной эволюции развились из свойств, присущих животным. Для нас возможна только точка зрения, какую, например, высказывает Гексли: «Великое учение о непрерывности не позволяет нам предположить, чтобы что-нибудь могло явиться в природе неожиданно и без предшественников, без постепенного перехода. Неоспоримо, что низшие позвоночные животные обладают, хотя и в менее развитом виде, тою частью мозга, которую мы имеем все основания у себя самих считать органом сознания. Поэтому мне кажется очень вероятным, что низшие животные переживают в более или менее определенной форме те же чувства, которые переживаем и мы».

Ни один живой человек, сколько-нибудь имевший дело с животными, не согласится, конечно, с педантической безглазостью ученых, подобных Беете. Слишком такой человек чувствует живую «душу» животного. Тем менее сможет согласиться художник. Почитайте Льва Толстого, как он постоянно в восторге повторяет про лошадь или собаку: «Только не говорит!» Почитайте Пришвина.

В этой главе «Невыдуманных рассказов» у меня только пригоршня рассказов самой строгой, проверенной невыдуманности из огромных залежей наблюдений, которыми могли бы поделиться сотни тысяч людей, любящих природу и животных.

1

Если внимательно глядеть кругом,—приходится изумляться на каждом шагу. Вошел в подъезд нашего дома, поднимаюсь к себе по лестнице. Мне навстречу серый кот из соседней квартиры. Я его иногда прикармливаю. Мяукает, поглядывает на меня и бежит вниз. Остановится, поглядит и бежит вниз дальше. Я пошел следом. Он подбежал к двери, ведущей на двор, глядит на меня, мяукает. Я открыл дверь, и он выбежал.

Кот совершенно определенно просил меня выпустить его на двор. Какой дикий зверь знает просьбу? Может взять — берет. Не может — смиряется. Но чтобы обратиться к живому существу и ждать, что оно, без всякой для себя пользы, сделает что-то зверю нужное,— это ему не может прийти в голову.

Вообще человек среди зверей — существо совершенно

особенное. Общение с ним зверей (так называемых домашних животных) создает в них навыки существенно особенные, которые невозможны при общении ни с какими другими животными. На домашних животных можно ясно наблюдать пробуждение и растущее развитие такой умственной и душевной деятельности, которая роднит их с человеком и совершенно чужда диким зверям.

2

У нас в Туле была кошка. Дымчато-серая. С острою мордою — вернейший знак, что хорошо ловит мышей; с круглой мордочкой — такие кошки больше для того, чтоб ласкаться к людям и мурлыкать. Кошка эта ловила мышей с удивительным искусством. И — никогда их не ела. И совершенно по-человечески знала, что, поймав мышь, сделала нечто заслуживающее похвалы. Она появлялась с мышью в зубах и, как-то особенно, призывно мурлыкая, терлась о ноги мамы. Уже по этому торжествующему, громкому мурлыканью все мы узнавали, что она поймала мышь. Мама одобритительно гладила кошку по голове; кошка еще и еще пихала голову под ее руку, чтоб еще раз погладили. Потом обходила всех нас, и каждый должен был ее погладить и похвалить. Потом она душила мышь, бросала и равнодушно уходила.

3

На окраине Боржома по откосу горы густо лепятся дома грузинского типа, с крытой галереей вдоль фасада, на которую выходят двери каждой из комнат. Был третий год Отечественной войны, голодали и люди, не только животные. Лежал на узеньком дворике перед домом неистово голодный, длинноногий черный пес. Он непрерывно чесался от одолевавших его блох и ласково вилял хвостом каждому входящему человеку, надеясь получить что-то поесть. Ел он и человеческий кал, и помидорную кожицу, и огрызки яблок. Звали его Тузик.

На галерее нижнего этажа жила кошка с тремя котятами. Когда хозяйева давали ей что-нибудь поесть, Тузик выходил из себя, лаял и прыгал к перилам. Кошка, кончив есть, садилась на перила. Тузик озлобленно бросался вверх на нее. Кошка щурилась и притворялась, что его не замечает, а когда морда пса оказывалась уже слишком близко, давала ему лапами несколько пощечин. Если хозяев на террасе не было, а дверца

на двор не была закрыта, Тузик врывался на террасу и жадно поедал все, что было в кошачьей миске. Кошка сидела возле самой его морды и огорченно смотрела. Выходил кто-нибудь из хозяев.

— Тузик, это что?! Вон!

Пес поспешно удалялся, а кошка бросалась следом и била его лапами по задку.

Однажды утром пес уверенно, не боясь хозяев, взобрался на галерейку и положил на полдохлого котенка. Котенок был чужой. Положил и деловито удалился. Хозяин, смеясь, вышвырнул котенка на двор. Тузик внимательно поглядел на хозяина, подошел к котенку и с аппетитом съел.

Вот. Не съел сразу, как нашел. Увидел — и сделал умозаключение: подобные неприятные звери живут вон на той галерейке; наверное, и этот оттуда; надо отнести туда. С удовольствием сразу съел бы, но долгом своим почел отнести.

4

В Тбилиси, зимою 1943 года. Перед «хлебной точкой» стояли возле грузовой машины открытые ящики с привезенным хлебом. Возчики вносили их в магазин. А у стены стоял ужасающе худой, шершавый пес — все косточки можно было видеть целиком, как будто на них ничего уже не было, кроме кожи. Казалось, он издохнет от голода не дольше, как через час-два. Пес грустно стоял и пристально смотрел на хлеб в открытых ящиках. Но в глазах его было написано:

Нельзя!

Возчики уходили с хлебом в магазин, можно было без большого риска схватить хлеб и скрыться. Но тут был не страх перед наказанием, перед побоями. Что все побои перед голодом! В голодный год я видел в Феодосии, как били на базаре человека, укравшего булку. Его били каблуками и палками, а он лежал ничком, втянув голову в плечи, не защищался и спешил съесть булку. Тут у пса был не страх перед наказанием, было что-то, более сильное и властное, чем даже голод, что-то совершенно непонятное дикому зверю и воспитанное в собаке человеком, — чувство долга:

Нельзя!

Мы катили на автомобиле по Сокольническому просеку. Впереди нас во весь опор мчался молодой доберман-пинчер. Было такое впечатление, что он отстал от хозяина и догоняет его.

Но вдруг пес остановился, подождал нашу машину, выравнялся с нею, взглянул на нас молодыми, ожидающими глазами, коротко лаянул и стрелою понесся вперед. И на бегу оглядывался: кто кого? Но шофер был солидный, перегоняться с собакою не захотел, и она далеко нас обогнала. Так три раза она делала, до самого Яузского моста. Подбегала к машине, выравнивалась и потом неслась вперед. Была всего удивительнее та добросовестность, с которою пес устраивал старт: бежал некоторое время точно вровень с машиною, потом давал лаем сигнал — и устремлялся вперед.

Через три часа мы ехали назад. Навстречу нам несся грузовик, а рядом с ним, высунув язык, мчался вперегонки неутомимый наш доберман.

Потешнейшая собачонка из породы малорослых косматых пинчеров. Безобразна она была до крайности. Длинная, косматая шерсть, спутанная, как войлок, от глаз волосы расходятся лучеобразно, глаза как будто совиные. Смешной какой-то черт. Великолепно ловила крыс.

Мне даже неловко писать, до чего она была умна. Никто не поверит. Сама безобразная, очень любила все красивое. Когда молодая девушка в семье надевала белое платье с красным поясом, собачонка садилась на задние лапы и часами любовалась ею. Сидит и смотрит. Любила и сама покрасоваться. И это было самое потешное. На косматую шерсть ее лба привязывали ярко-красный бантик. Она опрометью мчалась к трюмо, — да, да! бросалась к зеркалу! — оглядывала себя, потом садилась на подоконник открытого окна (жили они в нижнем этаже) и гордо сидела, выставя себя на поглядение прохожим. Прохожие оглядывались на эту рожу, многие останавливались и хохотали. А она величественно сидела, гордая всеобщим вниманием.

У угла моей дачи стояла кадушка, полная воды. Рядом — куст бузины. На бузине сидели бок о бок два молодых

воробья, совсем еще молодых, с пушком, сквозящим из-за перьев, с ярко-желтыми пазухами по краям клювов. Один бойко и уверенно перепорхнул на край кадушки и стал пить. Пил — и все поглядывал на другого, и перекликался с ним на звенящем своем языке. Другой, чуть поменьше, с серьезным видом сидел на ветке и опасно косился на кадушку. А пить-то, видимо, хотелось — клюв был разинут от жары.

И вдруг я ясно увидел: тот, первый, — он уж давно напился и просто примером своим ободряет другого, показывает, что ничего тут нет страшного. Он непрерывно прыгал по краю кадушки, опускал клюв, захватывал воду и тотчас ронял ее из клюва, и поглядывал на брата, и звал его. Братишка на ветке решился, слетел к кадушке. Но только коснулся лапками сырого, позеленевшего края — и сейчас же испуганно порхнул назад на бузину. А тот опять стал его звать.

И добился наконец. Братишка перелетел на кадушку, неуверенно сел, все время трепыхая крылышками, и напился. Оба улетели.

8

В марте месяце 1911-го года я ехал на пароходе из Египта в Грецию. И необычная картина была на пароходе: на корме, заваленной товарами, сидела масса самых разнообразных перелетных птичек. Они кружились в воздухе, порхали над волнами и опять садились на корму, клевали сквозь камышовые решетки упаковочных ящиков пунцовые египетские помидоры. На ночь птички расположились спать на мачтах, реях и бушприте нашего парохода. Матросы очень любят этих птичек и не позволяют пассажирам их обижать. Я расспрашивал матросов про птичек. Весною их можно видеть только на судах, идущих на север, осенью — на судах, идущих на юг. Вы догадываетесь? Какой тут мог быть инстинкт? Птицы как-то почуяли, каким-то путем поняли: зачем им тратить силы на трудный перелет через море, когда можно с великолепнейшим комфортом переплыть море на пароходе? Когда-нибудь, может быть, выработается и инстинкт.

9

Часто я стою на улице и с интересом наблюдаю бегущую мимо собаку. Она все время обнюхивает на ходу камни, тумбы, стены. Вдруг остановится у заинтересовавшей ее тумбы, обнюхивает ее долго и тщательно, потом бежит

дальше. И все время нос в камни мостовой, и все время нюхает. Конечно, это так: для собаки обоняние — то же самое, что для нас зрение. Я гуляю — и смотрю. Она гуляет — и нюхает.

А зрение у собак плохое и неприметливое. У меня на даче в Коктебеле щенок наш Бобка однажды притащил в сад вонючее крыло дохлой галки, с большим наслаждением грыз его и перетаскивал с места на место. Я сказал племяннице Але, чтоб она отвлекла внимание Бобки, и тут же, в пяти шагах от него, почти на его глазах, закопал крыло в землю. Бобка воротился — крыла нет. Он ничего не заметил. Не заметил, как я взял на лопату крыло, как закапывал в землю, не обратил внимания на свежую кучу земли. Крыло для него исчезло. Он бегал и напрасно нюхал. Однако через два часа крыло опять было в зубах Бобки: он таки вынюхал его сквозь землю и отрыл.

Во время оно был у нас в Зыбине пойнтер Гетман. Обоняние его было изумительное: дадут понюхать коробку спичек, выведут из комнаты, коробку спрячут в ящик комода под белье и ящик задвинут. Впустят — он тщательно все обнюхает и остановится перед тем ящиком комода, где запрятаны спички. И вот раз идем мы на лыжах по саду. Впереди — грозно-испуганный лай Гетмана. Стоит в пяти шагах от небольшого пенька и лает: обросший черным мохом лохматый осиновый пенек в обтаявшей от февральского солнца снеговой воронке.

— Гетман! Чего ты? Вот дурак!

Я ударил палкой по пеньку. Гетман подбежал, взволнованно обнюхал пенек, равнодушно отвернулся и побежал дальше.

10

С этим самым Бобкой в Коктебеле был еще такой случай. У него вздулся большой нарыв на лапе. Племянница моя Аля попросила своего отца, доктора, вскрыть нарыв. Она держала на коленях Бобку, положив руку ему на голову. Отец с бесстрастным лицом резал, а Аля сидела с страдающим лицом. Когда Бобке уж очень было больно, он начинал скулить, пытался выдернуть лапу и вопросительно взглядывал на Алю. Аля гладила его по голове и успокаивающе говорила:

— Ну, Бобочка, потерпи! Сейчас не будет больно!

И Бобка покорно терпел и уж не пытался вырвать лапу. И вытерпел всю операцию.

Шел вечером по Денежному переулку. Пронесся автомобиль. Из-под колес бешеный визг, и по мостовой быстро закрутился белый комок. Небольшой фокс надсадно визжал и кружился, кружился спотыкающимся, неуклюжим волчком. Отовсюду настороженным лаем откликнулись собаки.

Фокс, странно изогнувшись и громко визжа, побежал по улице. С грозным рычанием на него налетела черная собака и хотела укусить в спину. Фоксы бешено храбры. Он обернулся, угрожающе лякнул на черную собаку. Она отстала. А он дальше побежал молча... Да, брат, если плохо тебе, — молчи!

Эта подлая собачья привычка: когда визжит собака, когда ее грызут другие собаки, стараться и самой ее укусить, поспешить на помощь сильным против слабых.

Но иногда приходится наблюдать и удивительнейшее собачье благородство по отношению к слабым. У нашей моськи Бэлы, о которой я дальше расскажу, был в молодости брат, Нарзан, задорный и самоуверенный, из породы крыловских мосек. На дворе же в тульском нашем доме был цепной пес — лохматый, белый, чудовищной величины. Звали его Дворняк. На ночь его спускали с цепи, он на свободе бегал по двору и по саду и густым своим лаем должен был отпугивать воров.

Вот раз как-то вечером дворник спустил Дворняка с цепи раньше обычного. Он вбежал в сад. Виляя хвостом, подбежал к нам. Вдруг на него с грозным лаем бросился дурак Нарзан, прямо бросился на него, чуть не чтобы драться. Дворняк рывкнул и мгновенно подмял под себя Нарзана. Мы замерли: конец Нарзану! Замер от ужаса и сам Нарзан, прижатый спиной к земле могучими лапами Дворняка. А Дворняк, оскалив над Нарзаном ужасную пасть, подержал его с минуту под своими лапами и, не тронув зубом, отпустил. Знай, мол, вперед, на кого бросаться, а я об тебя пачкаться не хочу.

Была у нас в семье моська, сестра этого Нарзана. Маленькая, жирная, с одышкой, с глазами навывкате, как у лягушки. Но по-человечески добрая и удивительно умная. Звали ее Бэла. Иногда прямо казалось, что у нее человеческая душа. Однажды заговорили мы о том, что Бэла очень стара, что следовало бы ее отравить. Сестра Лиза, подросток-

гимназистка, серьезнейшим образом испуганно заметила нам:

— Господа, говорите по-немецки, а то Бэла все поймет!

Сестренку Аню кто-то обидел, она не пошла обедать, лежала у себя на постели и плакала. Бэла вертелась вокруг обедающих, повизгивала, махала хвостом и глядела просящими глазами. Всех это очень удивило: Бэла никогда не просила за столом, она знала, что ей еда полагается после обеда. Решили, что очень проголодалась, дали куриную косточку. Бэла побежала к плачущей Ане и бережно положила ей косточку на подушку.

13

В таком же роде. В Ялту на осень приехала девушка, больная туберкулезом. Дули сильные ветры. Она подпростудилась. Появилось кровохарканье. Полторы недели лежала, не вставая, совсем одинокая.

Вошла к ней проведать ее хозяйка. Когда она уходила, в дверь проскользнула хозяйская собака; больная часто ее кормила. Перепрыгнула через табуретку, кинулась к больной, положила ей морду на грудь. Девушка прижала ее голову, ласкала и горько плакала. Собака внимательно поглядела на нее и убежала. Через минуту появилась с плюшкой в зубах и положила девушке на грудь — стащила у хозяев.

Собака была самка, но детей у нее не было. Она отыскивала беспризорных щенят и котят и носила им еду.

14

Рабиндранат Тагор, «Жертвенные песни».

«Я часто думаю: где пролегает скрытая граница понимания между человеком и животным, лишенным дара внятной речи?

Через какой первоначальный рай, на утре древних дней, пролегал тропинка, по которой их сердца ходили навещать друг друга?

Их следы на тропинке еще не стерлись, хотя давно уже забыты родственные связи.

Иногда, в какой-то музыке без слов, проснется темное воспоминанье, и животное глядит тогда человеку в лицо с нежной верой, и человек глядит в глаза животному с растроганною любовью.

Как будто сошлись два друга в масках и смутно узнают друг друга под личиной».

Насмешка судьбы соединила друг с другом самого счастливого человека с самым несчастным.

Леонид Александрович Ахмаров был талантливейший инженер-строитель, один из лучших советских архитекторов. Каждая его постройка вызывала шум и разговоры. Она была оригинальна, ни на что прежнее не похожа и покоряла красотой, жадной любовью к жизни и мужественностью духа. Начиная светиться душа, когда глядел человек на благородные линии его зданий, на серьезную, чисто эллинскую радость их, осложненную современною тонкостью и сложностью. Леонид Александрович много зарабатывал. Был красив, молод, здоров. Прекрасный теннисист и конькобежец. Во всем ему сопутствовала удача.

Жена его Люся была собранием множества болезней и множества несчастий. Восход ее жизни был ярок и многообещающ. Студенткой университета она была принята в студию Станиславского, там все носили ее на руках. Станиславский повсюду говорил торжествуя, что появилась в Советском Союзе первоклассная трагическая актриса с огромным темпераментом. И вдруг все оборвалось. У Люси открылся туберкулез кишечника. Рухнули надежды на артистическую дорогу. У ней много было и еще болезней. Прирожденное сужение аорты. Рвущие мозг мигрени, доводившие почти до помешательства. Сколько она проглотила пирамидона, фенаcetина, кофеина! И только незадолго до смерти выяснилось, что мигрени вызывались скрытою малярией, не разгаданною врачами. Все почти время Люся проводила в постели. А была при этом полна огромной энергии, не имевшей приложения. Изнывала от страстной жажды материнства, но врачи запретили иметь детей.

Оба они сильно и прочно любили друг друга.

Машина мягко неслась по гудронированному шоссе дачного поселка. Леонид Александрович возвращался из Москвы с дневного диспута в Политехническом музее об его последней постройке — Всесоюзном Дворце физкультуры. Нападали, защищали, но в том сходились все, — что это будет одно из замечательнейших зданий Москвы, что оно, пожалуй, даже знаменует рождение в архитектуре нового, советского стиля. Потом был банкет. Голова кружилась от шампанского и восхвалений. Дубы и сосны просеки чернели высокою сте-

ною, закрывая заходящее солнце. Как всегда после временного отсутствия, все вокруг было по-новому мило, неожиданно значительно.

Машина въехала в ворота дачи. В саду, около куста цветущей жимолости, лежала в гамаке Люся и смотрела на заходящее солнце. Лицо у ней было бледное и страдающее. Она медленно перевела глаза на входившего в сад мужа и встрепенулась.

— Ну, иди скорей, рассказывай!

Расспрашивала о всех подробностях диспута, жадно глядя огромными черными глазами, расспрашивала серьезно и требовательно. Леонид Александрович сидел возле гамака на березовом пне, рассказывал, а в душе было горько: в какой он живет яркой, интересной жизни, а она тут вяло прозябает в одиночестве и непрерывных страданиях.

Кончил рассказывать, припал головою к ее плечу.

— У тебя очень страдающее лицо. Плохо тебе? Она нетерпеливо повела плечами.

— Это совсем не важно!— И оживилась.— Знаешь, я сейчас лежала и смотрела вон туда. Березы стоят огромные, тихие-тихие. Зелень под солнцем такая яркая, зеленая до невероятности! И как будто все замерло в благоговении. Как хорошо! Какая красота!— повторяла она в упоении.— И воздух какой, вдохни всею грудью! Ой, Леня, как у нас тут хорошо!.. И... Ой-ой! Смотри-ка, Анна Павловна идет гнать меня домой!

По дорожке шла, подергивая головою, худенькая старушка и лукаво улыбалась.

— Людмила Александровна, солнце садится, нужно домой.

— Да уж вижу, идете отравлять мне жизнь!.. Ох, Леня, какая это отравительница жизни, если бы ты только знал!.. Ну, что ж делать! Нужно идти.

Анна Павловна сконфуженно улыбалась, и кожа темени светилась сквозь седоватые, очень редкие волосы.

Пошли к дому. В цветнике к вечеру сильнее пахло левкоями и резедой. На застекленной террасе кипел самовар. Анна Павловна села к нему.

Леонид Александрович сказал нерешительно:

— В филармонии объявлен концерт. Пятая симфония Шостаковича. Взять и для тебя билет?

— Что за вопрос? Конечно!

— Люся, ведь после этого опять на несколько дней придут твои ужасные мигрени.

— И из-за этого отказываться от радости! Какая неле-

посты! Очень прошу тебя не опекать меня. Обязательно возьми.

Он пожал плечами и сказал покорно:

— Хорошо.

С говором и смехом вошла на террасу молодежь: комсомолец-вузовец Борис, брат Леонида Александровича, и две племянницы Люси — сероглазая хохотунья Ира и чернобровая Валя с насмешливыми глазами. Все были в теннисных костюмах, с ракетками.

Перебивая друг друга, стали рассказывать: приезжал в гости к Куприянову чемпион по теннису, знаменитый Кидалов. Борька играл с ним сингль, конечно, проиграл, однако взял два гэма. Вот так Борька наш! Все-таки два на шесть!

Борис сказал брату:

— Кидалов много слышал про тебя и очень жалел, что не застал сегодня. В следующее воскресенье опять будет здесь и был бы рад сразиться с тобою.

— С удовольствием. Таким игроком интересно быть и побитым.

Леонид Александрович был очень рад. Он самозабвенно любил теннис — вольность и разнообразие движений в нем, красоту и удобство теннисных костюмов, упоение от удачно посланного или принятого мяча. А тут еще встреча с таким мастером, как Кидалов.

Всегда, когда у него была радость, Леониду Александровичу было стыдно перед Люсей, больно, что она в ней не может участвовать, и поднималась к ней особенная нежность.

Молодежь ушла гулять. У Люси глаза были очень бледны, она с трудом поднялась со стула: начинался скрытый припадок малярии. Леонид Александрович подал ей руку, чтоб отвести в ее комнату. Но Люся сурово сказала:

— Не надо. Я с Анной Павловной. Иди к себе работать.

В просторной спальне от открытых окон стояла сыроватая ночная свежесть. Анна Павловна грела постель, Люся причесывалась на ночь. Разделась, подошла к постели, сказала устало:

— Какая я счастливая! Уж не нужно раздеваться, не нужно причесываться, все позади. А постель какая мягкая, какая нагретая! — С наслаждением завернулась в одеяло. — Ой, как хорошо!.. Как тепло! — Притянула за руку Анну Павловну и шепнула: — Анна Павловна, милая! Я вам так благодарна за вашу всегдашнюю заботу обо мне! Я не

представляю, что бы я без вас делала. Мне только перед вами не стыдно страдать.

Анна Павловна изумилась.

— Вы благодарны мне! Я никогда не смогу отблагодарить вас за то, что вы для меня сделали.

Люся засмеялась, махнула рукой и сказала:

— Ну, покойной ночи!

Знакомство их началось так.

Года два назад, в слякотный осенний день, Люся шла через Патриаршие пруды и увидела на скамеечке маленькую женщину с трясущеюся головою. Лицо женщины, мокрое от мелкого дождя, застыло в таком страдании и отчаянии, что Люся невольно повернула к ней, села рядом и заговорила. Старушка отшатнулась. Но Люся была мягко настойчива, и постепенно старушка все рассказала. История была простая. У нее умерла от тифа единственная дочь восемнадцати лет, вузовка, в которой была вся ее жизнь. Люся с жадным участием расспрашивала, и старушка с радостью рассказывала, какая ее девочка была талантливая, красивая, добрая, как ее все любили. Люся просидела со старушкой под зонтиком два часа. Старушка плакала, а Люся ей говорила, говорила горячо и долго. Ни Анна Павловна, ни сама Люся не смогли бы передать, что именно говорила Люся. Дело было не в словах, не в мыслях, не в логике. Действовала спокойная мягкость голоса, несокрушимая вера в жизнь, ясно осязаемое, жаркое сочувствие. Как будто музыка звучала, серьезная и торжественная. Анна Павловна слушала и облегченно плакала.

После этого Анна Павловна несколько раз была у Люси. Эта больная, уже негодная для жизни женщина непонятным образом давала ей силу нести горе и опять привязала ее к жизни. Вышло как-то так, что Анна Павловна поселилась у Люси и стала в доме совершенно незаменимой: заведовала хозяйством, ухаживала за Люсей, чинила белье и платье. И решительно отказывалась от вознаграждения. Жила же тем, что шила на заказ. Люсю она любила сильною, благодарною любовью, окружала материнскою заботою, в нее вкладывала весь огромный запас любви, который оставался в ее душе неистраченным после смерти дочери.

И обоим было хорошо друг от друга.

Утром Леонид Александрович проснулся по-обычному в мрачном настроении. Еще отуманенный сном, он только

ощущал владевшую душою мутную тоску, но не мог бы даже ответить, с чего она. Вечные дома болезни. Вообще всегда что-нибудь мешает полной радости. Ах да, вот что сейчас главное: Борис. Скоро из-за неуспешной учебы ему придется покинуть вуз. Куда, к чему его приспособить? Перед необходимостью всякого решительного действия Леонид Александрович терялся и становился беспомощным. С Люсей надо посоветоваться.

Комната ее была уже прибрана. Люся, одетая, лежала на кушетке и читала. В раскрытые окна сквозь листья ясеней рвались в комнату запахи сада, зеленый солнечный свет, стрекот и птичий гам. Люся рассеянно протянула мужу руку и, полная большой внутренней сосредоточенности, медленно стала читать из книжки:

Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движение разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!
Все во мне — и я во всем...

Леонид Александрович нежно поцеловал ее и спросил:
— Чье это?

— Тютчева.

В глазах Люси он прочел ту бурно кипящую радость, которая ею овладевала при художественных или умственных переживаниях.

Он нерешительно сказал:

— Мне хочется поговорить с тобою об одном деле, но, может быть, потом? Это не к спеху.

— Нет, отчего! Говори сейчас.

— О Борисе. Беда мне с ним. Мальчик он добрый, но какая умственная пустота и какое легкомыслие! Наукой не занимается, курса, наверно, не кончит. И думает только о теннисе. Говорить с ним совершенно безнадежно: он всею душою рад пойти мне навстречу, но что способен вместить этот низкий и отлогий лоб спортсмена, кроме дум о теннисе и футболе?

Он угрюмо зашагал по комнате. Люся спокойно ответила:

— Страшного тут ничего нет. Лобика ему не переделаешь. Нужно мириться с тем, что есть.

— Это довольно печально.

— В нынешнее время ничего не печально. Отчего ему не

стать, например, инструктором по теннису? Чем это плохо? Пусть переведется в физкультурный институт. Что у тебя за склонность все видеть в мрачном свете и сейчас же падать духом! А по-моему, как бы было хорошо, если бы взамен постылой термодинамики и дифференциального исчисления у него явилась работа, в которой бы он горел душою. Ведь это же красота! Как я буду рада за него!

Леонид Александрович все больше светлел. Он подсел к Люсе, прижал ее ладонь к своей щеке.

— Поговоришь с тобою — и сразу как-то становится на душе крепко. Подумаю. Это выход.— Встал и весело сказал:— Ну, пойду купаться!

Странный встречается народ среди художников. Публика читает юмориста и покатывается со смеху, а сам он угрюм и в жизни никогда не смеется. С самою искреннею ненавистью писатель громит мещанство, а сам не живет как мещанин только потому, что живет как владетельный принц. Смеясь, умиляясь, любя, ненавидя, художник в творчестве своем искренне и сильно переживает соответственные чувства. А в жизни проявляет их очень мало. И в творчестве его нет никакой фальши. Этим он в корне отличается от художников неискренних, приноравливающих, чувствующих про себя одно, а выражающих другое. Таких художников читатель раскусывает скоро и не стоит перед их биографией в недоумении, как перед биографией, например, Некрасова, Достоевского или Гейне.

Творчество Леонида Александровича дышало мужеством и благоговейною, чисто религиозною любовью к жизни. Но сам он был к жизни мрачно равнодушен, она не зажигала его, в будущем он опасливо ждал от нее самого плохого. Был косен и неактивен. В углах губ его красивого лица всегда лежала угрюмая складка. И часто Люся говорила ему:

— Леня, Леня, почему у тебя всегда такое нерадостное лицо? Да оглянись вокруг, погляди, как жизнь хороша!.. Вот погоди! Вдруг какому-нибудь там верховному существу взбредет в голову мысль устроить суд над людьми. Тогда оно тебе скажет: «Тебе было дано в жизни так много, а как ты к этому относился? Ничего не замечал». И даст оно тебе подзатыльник, и ты кувырком полетишь в бездну скуки, ничтожества и равнодушия. И поделом тебе будет!

Сама несчастная, кругом обделенная жизнью, Люся была подлинною музою Леонида Александровича, вдохновлявшего его на бодрость и радость.

У Люси стали сильно разбалчиваться зубы. В начале августа она поехала в Москву к зубному врачу. На обратном пути полил дождь с холодным ветром. Она вышла из машины продрогшая, бледная. Леонид Александрович заботливо спросил:

— Ну, что?

— Еще беда! И без того своих зубов почти уже нет, а тут: три зуба вырвать, две коронки, протез... Совсем хочет опустошить мой рот. И сам говорит: «Уж не знаю, на чем мне прикрепить протез». Господи, что же это!.. Ну, да ничего!

Но в потускневших глазах Леонид Александрович прочел отчаяние. Она прошла к себе, попросив прийти Анну Павловну. Началась жестокая мигрень.

Весь день она мучилась несказанно. Анна Павловна клала ей на голову горячие компрессы, поддерживала лоб при мучительных позывах на рвоту. К вечеру Люся заснула. К ночи позвала Леонида Александровича.

Лежала успокоенная, с ласковым, измученным лицом. Он тихо целовал ее худые руки.

— Трудно тебе, бедная моя!

— Ну, бедная! Сейчас ничего. Вот утром — да! Пала духом. Тогда стала бедная. А это — самое страшное преступление, какое только можно себе представить, — пасть духом. Тогда убивается все, и право жить на свете остается только за счастливыми.

Он продолжал целовать ее пальцы, а сам думал: «Как может она жить в этих непрерывных бедах? Я бы уж давно покончил с собою».

Большие черные глаза Люси засветились. Она говорила мечтательно:

— Ты сказал: трудно. Мне недавно пришло в голову: трудно, когда человек думает о будущем или прошедшем. А без этого жить всегда можно. Как все живое, кроме человека, — не заглядывать в будущее, не вздыхать о прошедшем. Как это у Тютчева? Погоди.

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет;
И страх кончины неизбежной

Не светит с ветки ни листа.
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Леонид Александрович думал: «Она настойчиво вырабатывает для себя особую, свою философию преодоления страдания».

Люся говорила:

— Вот я спрашиваю себя: ну, если не думать о прошедшем и будущем, чем мне сейчас плохо? Зубы не болят, голова прошла, на душе тихо, в спальне моей так уютно, в окно смотрит Юпитер... И ты возле меня... О, моя дорогая рука!

Она гладила его руку, сиявшими любовью глазами смотрела на него и вдруг сказала:

— Ничего, что ты в жизни такой нытик. Ты все-таки будешь творцом советского архитектурного стиля, от которого радостно улыбнется весь мир... Да, да!

Веселым солнечным утром Люся рыхлила в цветнике землю вокруг тубероз и подвязывала к палочкам их вытянувшиеся, пышно зацветающие головки. Вышел из дома Леонид Александрович.

— Я сейчас еду в Москву. Нужно тебе там что-нибудь?

— Ой, как хорошо! Нужно очень. Сейчас, когда я вот здесь смотрела с обрыва на заречные дали, мне вдруг вспомнилась одна наша факультетская лекция о Демокрите, греческом философе. Особенно одно его изумительное слово — *euthymia*. И захотелось хорошо познакомиться с ним. Пожалуйста, поищи его у вас в библиотеке или еще где-нибудь и привези сегодня же.

Леонид Александрович неохотно возразил:

— Как же его искать?

— Только не говори себе с самого начала, что это невозможно. Если не на русском, то, наверно, на немецком найдется перевод дошедших до нас его отрывков. Только чтобы в подлиннике, а не в пересказе ученого тупицы. В университетской фундаментальной библиотеке, наверно, найдется.

Необходимость всякого энергичного действия вызывала у Леонида Александровича тоску. Люся внимательно посмотрела на него и настойчиво сказала:

— Леня, преодолей себя. Мне очень нужно. Ну, как при желании не найти, — где? В Москве!

Он ответил с сомнением в голосе:

— Постараюсь.

Оказалось, найти было совсем нетрудно. Как раз только что вышло в русском переводе издание всех отрывков Демокрита, и Леонид Александрович с торжеством привез купленную книжку.

Люся с жадностью сейчас же принялась читать. Читала до вечера и сердилась, когда ее отрывали. К ужину она вышла с прочитанною уже книжкою. Люся обладала редкою способностью очень быстро читать и усваивать прочитанное.

Ужинали на застекленной террасе. Была половина сентября, но стояла такая теплынь, что все рамы были отодвинуты и теплые волны аромата тубероз плыли с цветника на террасу. Небо непрерывно дрожало тусклыми взблесками. Голубоватые зарницы перебегали с тучки на тучку, на миг выделяя их темные силуэты. Вся природа как будто была полна смутной нервной тревоги.

Огромные черные глаза Люси блеснули, лицо было необычно оживлено. Как будто большим праздником была охвачена душа.

Она сказала:

— Ну, молодежь, слушайте и вы. Может быть, и вам будет интересно.

Дрожащими от волнения пальцами она перебирала по закладкам листы.

— Вот! Во-первых: огромный, всеобъемлющий гений. Путем почти одной интуиции он строит миропонимание, которое только через десятки веков было подтверждено наукой. Вы только послушайте! Все вещество состоит из атомов. Мир бесчисленное множество. Ничего не возникает из ничего. Люди явились на свет подобно червякам, без всякого творца и без всякого разумного основания. Борьба за существование научила людей всему. Ощущения и мысли — только изменения тела... Это все он говорил больше двух тысяч лет назад! — в восторге воскликнула Люся.

Леонид Александрович мягко положил руку на ее локоть.

— Люся, не так страстно! Разволнуешься — не будешь спать ночь.

Она сердито сверкнула глазами.

— Господи! Знаешь ли ты хоть какую-нибудь радость, из-за которой не побоялся бы бессонной ночи!

И продолжала говорить. Она горела, глаза светились жарким, как будто собственным светом. Вся она была в полном упоении от встречи с великим умом эллинской древности.

Леонид Александрович думал: да, радости такого размаха, какую сейчас переживает Люся, сам он, может быть, никогда в своей жизни не знавал. Даже самый

яркий подъем вдохновения мутнел у него от мысли: «Не одолею, ничего не выйдет!» И удивительно, как из всего вокруг она умеет извлекать радость — из большого и малого. Симфония Бетховена и писк зверюшки в ночном болоте, великий человеческий подвиг и земляника со сливками, — ото всего она в восторге, обо всем: «Ой, как хорошо!»

Люся продолжала:

— В этой же книжке приведено: Сенека называл Демокрита «самым тонким из древних». А кто его у нас сейчас знает? Никто. Теперь вот! Самое главное. Слушайте. В чем высшее благо? Важно только одно: «euthymia». «Eu» по-гречески значит «хорошо», «thymos» — «дух». Переводчик в этой книжке переводит: «хорошее расположение духа». Хорошее расположение духа!.. Человек вкусно пообедал, закурил сигару, прихлебывает кофе — вот хорошее расположение духа. Но как перевести? «Прекраснодушие», «благодарушие»... Это все у нас уже с совершенно определившимся значением. Нужно какое-то особенное слово. По-моему, вот такое: «радостнодушие». Слушайте же!

Леонид Александрович обеспокоенно переглядывался с Анной Павловной. Подъем даже для Люси был совершенно необычный, внутреннее пламя как будто сжигало ее. Но останавливать ее было бесполезно — только сердить.

Люся читала по книге:

— «Цель — радостнодушие. Оно не тождественно с удовольствием, как некоторые по непонятливости своей истолковали, но такое состояние, при котором душа живет бодро и без забот, не возмущаемая никакими страхами, ни боязнью демонов, ни каким-либо другим страданием». Демокрит называет такое состояние также бесстрашием и счастьем... Вот! Правда, замечательно?

— Замечательно! — отозвался Леонид Александрович. Анна Павловна сочувственно кивнула головой. Молодежь неопределенно промычала. Она осталась глубоко равнодушной. Миропонимание Демокрита было для них банальнейшими аксиомами, а «радостнодушие» у них самих было столько, что проповедание его казалось странным. Они с недоумением смотрели на восторженное оживление Люси. Поговорили, сколько требовала вежливость. Ира переглянулась с Борисом и Валей.

— Какая ночь замечательная! Пойдемте, ребята, пройдемся к реке!

— Пошли!

Шумно разговаривая, они скрылись в тревожно сверкавшей зарницами тьме.

Люся с любовною улыбкою перелистывала книгу. Она сказала усталым голосом:

— Ясность духа, бесстрашие перед жизнью и перед страданиями — вот счастье! Леня, дорогой мой, как бы я хотела, чтобы ты почувствовал, сколько в этом счастья! А ты все измышливаешь себе каких-то «демонов»! Ой, как я боюсь: вдруг эти демоны прокрадутся и в твоё творчество!..

Вдруг она замолчала. Глаза взглянули растерянно. Еще более побледневшее лицо склонилось на плечо. Книга упала. И Люся всем телом заскользила с кресла на пол.

Борис мчался в машине Леонида Александровича в Москву за профессором Багадуновым, всегда лечившим Люсю.

Догоравший костер вспыхнул последним ярким светом и теперь чуть тлел, угасая.

Люся быстро приближалась к смерти. Она стала малоразговорчива. Все силы ее были устремлены на преодоление темных волн, набегавших на душу, на смотрение поверх этих волн в широкую даль, где она хотела видеть блеск и свет. Однажды она сказала мужу:

— А знаешь, Леня, в смерти определенно есть какая-то скрытая радость. И умирать, оказывается, очень интересно. Вдруг настолько становишься выше жизни! Я никак ничего этого не ожидала. Ой, как хорошо!

Леонид Александрович хотел переехать с нею в Москву. Но она упорно отказывалась.

— Довольно лечений и курортов. Ничего мне уж не поможет, а я хочу видеть желтеющие березы, сверкающие в воздухе паутинки, трепеты воробьиной ночи.

С каждым днем она все больше худела и слабела. Малокровие быстро усиливалось. В ушах стоял непрерывный, очень тягостный звон.

Леонид Александрович, низко опустив голову, сидел возле ее постели. Дождь хлестал в окна, небо было серое, ветки ясеня бились под ветром, бросая желтые листья в воздух, полный брызг. Люся лежала вытянувшись, с закрытыми глазами, и тихим голосом говорила, как будто сама с собою:

— Какой странный звон в ушах! Как будто тысяча

кузнечиков стрекочет кругом. Вспоминается детство, наше
Опасово, залитый июльским солнцем большой наш сад.

А там вдали сверкает воздух жгучий,
Колебляся, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон!..

А потом вечер. От нагретого за день каменного крыльца
дышит теплом. Падает роса. И задумчиво трещат сверчки...
Как хорошо!

ЛЕГЕНДА

Эту легенду мне когда-то рассказал путешественник-англичанин.

Однажды пароход заночевал из-за туманов близ острова Самоа. Толпа веселых, подвыпивших моряков съехала на берег. Вошли в лес, стали разводить костер. Нарезали сучьев, срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы сорвать орехи. Вдруг они услышали в темноте кругом тихие стоны и оханья. Жуть их взяла. Всю ночь моряки не спали и жались к костру. И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой-то шорох, вздохи и стоны.

А когда рассвело, они увидели вот что. Из ствола и из пня срубленной пальмы сочились кровь, стояли красные лужи. Оборванные лианы корчились на земле, как перерезанные змеи. Из обрубленных сучьев капали алые капли. Это был священный лес. В Самоа есть священные леса, деревья в них живые, у них есть душа, в волокнах бежит кровь. В таком лесу туземцы не позволяют себе сорвать ни листочка.

Веселые моряки не погибли. Они воротились на пароход. Но всю остальную жизнь они никогда уже больше не улыбались.

Мне представляется: наша жизнь — это такой же священный лес. Мы входим в него так себе, чтобы развлечься, позабавиться. А кругом все живет, все чувствует глубоко и сильно. Мы ударим топором, ждем — побежит бесцветный, холодный сок, а начинает хлестать красная, горячая кровь... Как все это сложно, глубоко и таинственно! Да, в жизнь нужно входить не веселым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный лес, полный жизни и тайны.

СОДЕРЖАНИЕ

Случай на Хитровом рынке	3
Проклятый дом	6
Фирма	7
С опозданием	8
Парикмахер по собачьей части	8
«Бог соединил»	10
На деревенском базаре	13
На пожарище	13
Всю жизнь отдала	16
Московский литературно-художественный кружок	18
Букеты	24
Супруги	25
П. Ф. Лесгафт	27
Анна Владимировна	31
Фельдшер Кичунов	33
Степан Сергеич	37
Иван Иванович	40
Два побега	42
Враги	49
Чохов	58
Александр Степанович	64
Миллионерша и дочь	67
Софроний Матвеевич	75
Вера Фигнер	76
Мимоходом	88
Юра	92
Друзья в масках	106
Euthymia	115
Легенда	126

Викентий Викентьевич Вересаев

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ

Редактор *И. Плахотникова*
Художник *М. Дорохов*
Художественный редактор *Г. Саленков*
Технический редактор *В. Тушева*
Корректоры *А. Володина, Н. Кочергина*

ИБ № 5027

Сдано в набор 18.04.88. Подписано к печати 04.10.88. Формат 84х108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать зысокая с ФПФ. Бумага № 2 кн.-журн. Усл. краск.-отт. 7,14. Усл. печ. л. 6,72. Уч.-изд. л. 7,26. Тираж 500 000 экз. Заказ 923. Цена 60 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30



Издательство «Современник»